

ГРАНИ

GRANI

79

1971

Postverlagsort: Frankfurt/Main, April 1971

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку)

**в Германии и во всех других странах,
кроме США и Канады:**

При подписке непосредственно из издательства — 26.-- н.м.

**При подписке через представителей
и книжные магазины — 30.-- н. м.**

**Цена в розничной продаже — 7.50 н. м.
(или эквивалент 7.50 н. м.).**

В США и Канаде:

**При подписке непосредственно из издательства
— 8.-- ам. дол. При подписке через представителей
и книжные магазины — 10.-- ам. дол.**

Цена в розничной продаже — 2.50 ам. дол.

**Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу**

POSSEV-VERLAG

D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

**или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Rödelheim.**

**Из Германии удобнее переводить деньги на
Konto 334 61, Postscheckamt Frankfurt/Main.**

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXVI

№ 79

1971 год

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- ИГНАТИЙ КАРАМОВ — Стихи 3
ИВАН ЧАЙ — Языковые трудности адмирала 10

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

- А. КРАСНОВ — Мое возвращение 23
Г. М. ШИМАНОВ — Записки из Красного дома 101

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

- Н. Ф. ПЛАТТЕН — Из Зеркального переулка в Кремль.
Окончание 158

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- А. НЕЙМИРОК — О БУНИНЕ (1870-1953) 202
Д. РУДНЕВ — «Замкнутый мир» современной русской
фантастики. Окончание 212

БИБЛИОГРАФИЯ

- В. Перелешин. Земной наряд. — О. Можайская. Под
глухими небесами. — А. Слизской. Воспоминания М. Гольд-
штейна. — О. Емельянова. Стихи на веере 235
Список книг, поступивших в редакцию 248
Письмо в редакцию 251
Обращение издательства «Посев» 255

© 1971 Copyright by Possev-Verlag,
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Издательство « П о с е в »

ПОПЫТКА ПРЕДИСЛОВИЯ

Как известно, гоголевский губернатор любил вышивать по тюлю. Я не губернатор, не ассенизатор, не литератор. Я не имею желаний распекаать квартальных, свистеть прохожим и произносить речи о социалистическом реализме. Но у меня есть право вышивать на досуге по тюлю. Это и есть мои стихи. Я имею на них право. Я вышиваю их у себя в комнате под скрип радиол, чириканье голубей, у окна, свисающего на двор с пятого этажа.

Мои стихи не пригодятся ни губернаторам, ни квартальным, ни Добчинскому, ни Селифану, ни Ивану Кирилловичу, который очень потолстел и играет на скрипке, ни академикам, ни плотникам, ни кесарям, ни галилеянам, ни моей жене, ни жене моего брата, никому, никому. Поэтому посвящаю их марсианам, австралийским кенгуру и моему коту, который уже целый час сидит у лампы, скрестив руки, и неподвижно смотрит на меня снисходительно-брезгливыми глазами.

(Написано давно.)

ПРОМЕТЕЙ

На ниточке воли
Повис одинок.
То режет, то колет
Страстей коготок.

Стихи получены редакцией из России.

События свищут,
Его обступают,
И коршуны нищие
Печень терзают.

*(Эти птицы очень неприятны
и ядовиты, но их приходится
кормить.)*

Везет свою тачку,
Ругаясь, добро.
Другая собачка —
Старое зло.

Старое, бывшее, бедное зло,
Ты побледнело, ты отекло.

Другая собачка
Не лучше тебя —
Бросают подачки,
Её не любя.

Как же без сердца
Кровь сохранить?
Как же без крови
Птичек кормить?

...Уже пустота подымает копьё,
Уже опрокинуто сердце твое.

*(Может быть, это не Прометей?
Не думаю. По-видимому, речь
Идет именно о нем.)*

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
СЫНА

Остались запахи, и прежняя береза,
И закадычный сторбленный денек,
К развалинам припавший. Но пришедший
В слезах запутался, в рыданьях изнемог
И, узнавая всё, не узнавал.
Он приволок с собой срамных поступков груды,
Безумные пространства, города звериные
И облики владык прямоугольных,
И кривду слов курносых,
И память едкую о тех глазах понурых,
Которых он в пути не защитил...
И этот скарб нахохлился над ним
И заслонил деревья и тропинки,
Быть может, прежние забытые травинки,
Полузеленые увядшие былинки,
Проросшие, как детство на дворе,
К которым пальцы простирал,
Которых звал на помощь
Бессчетные года.
И эта рухлядь выпучила очи,
Бесцветные, как время прожитое,
И непристойными шепталась голосами,
Кичилась, хвасталась наперебой
И громоздилась, как пустые кубы...

Тогда он тихо подошел к березе,
Приник к ее обугленной груди,
Закрыв свои глаза седые —
И перед ним возникло в темноте
Виденье рук, положенных на плечи.

О, руки милосердные, простертые во мраке!
Живые руки в пустоте земной!

СИЯЕТ БОЛЬ

Там, где брови приподнимают,
Плечами пожимают,
Глаза опускают.
Где рты раскрываются,
Колени содрогаются,
Шеи склоняются.
В мире незнающих,
Непонимающих,
Повторяющих —
Там —
Как друг над изголовьем,
Как сердцебиенье под белой простыней,
Как полуоткрытый глаз надежды,
Как отсвет жизни неугасшей,
Как свет, в ночи приснившийся,
Сияет боль.

САПОГ

В память каких-то ног
На крыше лежит сапог.
Сушит его ветерок,
Заметает его снежок.
Кто на крышу его приволок?

Он лежит на боку, на снегу,
Разорванный на снегу,
На железном берегу...
Продолжать о нем не могу.
Мы вместе (и он и я)
Лежим — и встать нельзя,
А живые наши ноги
Идут от нас по дороге.

Вероятно, это стихотворение — под влиянием Лермонтова. Автор вначале хотел написать: «Сапог оторвался от ветки родимой».

ОБИДА

Как прожившийся, разоренный,
Отдавший все без возврата,
Так уйду и я оскорбленный
На дно моей горькой утраты.

Опущусь в водоемы глухие
Обиды могучей, непорочной.
Там, как воды, слезы людские
Тягу земную точат.

А ты, обиженная тоже,
Травиночка моя, не тужи —
Может быть, тебе еще поможет
Так называемая жизнь.

«Я»

Где всё осточертело
И дождик в стекла лупит,
Мое там Я сидело,
Глаза свои потупя.
И так мне Я сказало:
«Сорвался наш пробег.
Не взяться ли сначала,
Забыв себя навек?»

ПОЭТ НА ЛИГОВКЕ

Ходит в городе беда,
Ходят люди вбок.
В ожидании суда
Бредит городок.

А поэту от суда
Избавленья нет —
И ведет его беда
Лиговкой сует.

А за Лиговкой сует
Лиговка тягот,
И бредет по ней поэт
В поисках красот.

А за Лиговкой сует
Лиговкой скорбей
Пробирается поэт
В поисках людей.

Он растекся от сует,
От скорбей продрог,
Протоптав свой краткий срок
В поисках дорог.

Но на миг из тьмы дорог
В самый черный час
На него наводит Бог
Треугольный глаз.

**
*

Птицы пели на подушке,
На Литейном, у щеки.
Мы давно с тобою мушки,

СТИХИ

Дети, рыбки, старики.
Нам тепло с тобою в сетке,
Изучая суть реки.
Твой глазок поет на ветке,
Остальное — пустяки.
Остальное на аркане
Уведет с собой денек,
Остальное на экране
Затуманит вечерок.

Языковые трудности адмирала

Американский адмирал NN был назначен в конце сороковых годов морским атташе в Москву. Изучать русскую историю он начал в 1917 году, имел давний интерес к России и ко времени московского назначения умел читать по-русски многое почти без словаря, писать и понимать, хотя и не всякую разговорную речь. В Москве он надеялся доучиться и найти ходы в языковой перегородке, мешающей взаимопониманию обоих народов.

Практика в русском языке началась для адмирала уже в международном вагоне экспресса Берлин - Москва, почти все пассажиры которого были военные с положением и их семьи, дружелюбно-общительные или показавшиеся адмиралу такими.

— Вам понравится Россия, — сказала женщина со смуглым усталым лицом — врач, едущая в отпуск. — Это золотая страна, и ее надо крепко держать в руках народа.

Адмирал не понял всего золота в словах своей собеседницы и просил повторить их отчетливо и отдельно. Она охотно сделала это, растягивая трудные слоги, звук которых доставлял ей видимое удовольствие.

— Со временем ваш язык развяжется, — ободрила она адмирала, — но понимание идет через сердце не меньше, чем через уши. Знаете ли вы, что это значит: у русского народа золотые руки?

Адмирал, как ему показалось, знал. Это было для него почти то же, что *green thumb*, то есть зеленый большой палец у садовника для нас по-английски.

Рассказ этого же автора и сведения о нем см. в «Границах» № 69. — Ред.

Горбоносый артиллерийский полковник попросил у адмирала английского чтенья. Адмирал предложил ему иллюстрированный в красках журнал. Полковник сказал, что хорошо и это, но было бы лучше Naval Institute или National Geographic. Не решаясь пробовать на адмирале свою смесь английского с нижегородским и не дожидаясь вопроса, он сообщил по-русски, что он из Горького, где иначе произносятся гласные, чем в Москве. К разговору присоединились два других офицера с разъяснениями различий этих произношений. Представительный генерал не мог больше находиться в тылу и вдруг заговорил по-английски. Он говорил с трудом, медленно подбирая и выговаривая слова, но правильно. По его словам, он научился по Голосу Америки и Биби-си, и он посоветовал адмиралу больше слушать московское радио.

Но один авторитетный гражданский плохо переносил адмирала. Нечаянно в коридоре адмирал застал его к себе спиной в крупном разговоре с полковником, любителем серьезного чтенья. Как школьника учил он чему-то полковника.

— ... вы не должны с ним пускаться ни в какую политику, — мог только расслышать адмирал, так как говоривший замолк на полслове и отвернулся к окну. На лицах обоих было написано, о ком тут шла речь, и легкая тень набежала на ясный июньский день.

Но вот окна и наружные двери закрылись, и пограничники облепили поезд, переезжавший Буг, а тем самым и польско-советскую границу. Русский язык теперь был повсюду в распоряжении адмирала. Первое, что прочитал он по-русски, было «Слава Великому Сталину» и призывы к бдительности над входом в огромный лагерь погранохраны.

Сотни немецких военнопленных, обнаженных до пояса, работали тут же у железной дороги. Их ребра и кости просились наружу из-под сожженной солнцем кожи, как этого не случается и при сильной худобе. Ордено-

носный офицер опустил окно и выкрикнул им поощрение, которого не понял адмирал, но поняли умудренные немцы, ответившие на него мрачными взглядами.

То были первые русские слова, коснувшиеся адмиральского уха на родине великого языка. Зато вторые были без слов понятны; холод пробежал от них у адмирала по спине. Он записал их как *Daitye khleba! Dya-dya, daitye khleba!*, которые исходили от детского скелета в лохмотьях, тянувшегося к окну вагона на одной из белорусских станций.

Пока пораженная адмиральская чета собирала съестное, дюжина таких же маленьких призраков с огромными ввалившимися глазами (пленные немцы вдруг показались адмиралу откормленными здоровяками) стояла уже под окном, повторяя хором: «Дайте хлеба! Дядя, дайте хлеба!»

Эти уроки русского языка из детских уст повторялись на каждой станции, пока маленькие учителя и вторившие им старухи с приближением столицы не скрылись из виду.

В истории поездки адмирала не говорится, как отозвались какие руки народа из экспресса на просьбы народа под окном. Зато женщина-врач с понимающим сердцем отозвалась потом во враче Тимошук, прогремевшей большим диагнозом за орден с отдачей в деле кремлевских врачей.

С приездом в Москву адмиралу открылись новые виды на русский язык. У воздушного атташе их посольства де-Толли он прямо с вокзала попал в окружение коктейлей и разноплеменных гостей. Хозяин дома был американский продолжатель рода русского полководца. Он владел английским и русским, которые в нем совместились от предков и были в доме почти равноправные языки. Побочным путем общий язык не замедлил сыскаться и у разноязыких гостей. Перегородки шатались: под общим углом из частей ассамблеи получился сплошной коллектив.

С ходом события дело дошло до заздравных речей, и адмирал превзошел сам себя, погнавшись за комплиментом компетентных судей. Он растянул, сколько мог, свой словесный запас и дал полный ход всему красноречью, чем на свой образец и достал потолка в построении русского монолога.

— Молодец! — вскричал генерал с суровым лицом из советских гостей, хлопнув с чувством ладонью об стол, и тем так окрылил адмирала, что тот твердо решил здесь одолеть этот *damned**), для иностранца чертовски упорный язык.

В тот же вечер, в другом собрании, он попал в окружение де вушек из Бюробина**), которые, как ему объяснили, были кадром отличниц по преподаванию русского языка. Ему особенно приглянулась одна из них — Нина, с которой и приступили к русским урокам с усердьем у него на дому. Там в диалогах ему помогала кухарка Зоя, домработница Валя и шофер Володя, евший и пивший, как мог, за троих, кроме которых был еще при квартире к языкам не причастный нейтральный котенок, называемый *koshka*, — большой охотник на птиц.

Русский язык топтался какое-то время без особых событий внутри адмиральской квартиры, пока не случилось значительной встречи, встряхнувшей его на Кузнецком мосту в филателистическом магазине. Покупая там марки, адмирал вдруг почувствовал, что кто-то взял его за рукав; обернувшись, он с изумлением обнаружил, что свет на том месте клином сошелся, потому что то был тот самый полковник, который пытался заехать в политику по дороге в Москву. Оба казались решительно рады удивительной встрече. Общий язык моментально сыскался, и произошел живой разговор. Полковник спросил про здоровье жены адмирала,

*) проклятый.

**) Бюро Обслуживания Иностранцев. — И. Ч.

заметил, что адмиральский язык хорошо развязался, и стал говорить на общенародные темы — про домашние, житейские и тому подобные необходимые пустяки. А адмирал дал тут маху: он перестарался и огорошил полковника прямым приглашением повторить приятную встречу — отобедав вместе с женами запросто у него на дому. Полковника будто по лбу ударило. Он смутился и забормотал бессвязные вещи, из которых можно было понять только то, что всякие встречи полетели в трубу. И пока адмирал, видя свой промах, искал русские слова, чтобы вернуть диалог в колею, полковник отступил по направлению к двери и скрылся за ней без оглядки из глаз.

Вскоре затем и занятиям с отличницей Ниной подошел на толстой подкладке тонкий конец. На уроки она вдруг перестала являться, а затем при прощании замялась и сообщила, что после сильной простуды у нее пошатнулось здоровье, и врачи посылают ее для поправки на юг. Из диагноза здесь можно было понять только то, что языковый предлог для обслуживания Бюробином на адмирале сорвался. Но такой оборот был к облегчению и обеих женских сторон, то есть Нины и жены адмирала, и самого адмирала, у которого был еще диалог с квартирными ответвлениями Бюробина. Кроме того, он сочувствовал Нине, попавшей из-за него в переплет, и был рад за нее, что двойная работа в русской лингвистике ей не давалась.

Всё же, несмотря на заслоны, языковый туман в ушах адмирала продолжал расступаться. Но обучал он теперь себя сам по печатным учебным пособиям, за которые он засел, чтоб хоть заочным путем улучшать свой язык в изоляции. Диалог же его был не только стеснен языками квартирных учителей, но и вообще был оторван от жизни. Словом, ему в конце концов нужно было послушать русский язык без поводырей и проверить свои достижения в гуще действительной жизни. Удобной лазейкой в толщу народа с живыми

речами его середины были низовые точки сети нарпита. Он и предпринял хождение в народ в одной такой точке, которая, как он определил, была из числа нормальных столичных пивных. Он сел наугад за пустой столик на исходе рабочих часов и взял себе пива, желая держать русский экзамен без словарей, который ему учинит слепой неразборчивый случай.

Пивная начала наполняться рабоче-крестьянским середняком по окончании рабочего дня, и один из пришедших сел к адмиралу за стол. Он заказал себе пива и принялся поесть собственные припасы — хлеб и колбасу. Ему было на вид лет за тридцать, и он не имел никаких особых примет. Снаружи он был вполне средней пробой трудящейся массы, не выделяясь ни лицом, ни одеждой среди всех остальных. А каков он был изнутри, нельзя было угадать у него на лице — он держал при себе, чем он дышит. Покончив с едой, он спрятал остатки в карман и стал оглядываться за огнем. Адмирал предложил ему спичку. Тот закурил, кивнул и, помолчав, спросил:

— Вы латыш?

— Нет.

— Ну так, значит, уж немец, одеты вы лучше нашего.

Адмирал признался, что он американец. Но сосед оставался еще далек от всяких догадок. Он взглянул с любопытством и спросил, что адмирал тут делает — на работе или с делегацией? Но он сразу весь изменился — просто опешил, когда адмирал разъяснил, что он из американского посольства. С подозреньем тот осмотрел адмирала в полном молчании и попросил показать документ. Адмирал не отказался. Он достал свое советское удостоверение и сказал, кто он таков. Сосед тогда без всякого приглашенья показал адмиралу свое и пояснил, что он специалист из колхоза, приехал за инвентарем, женат, но бездетный, а жена работает в правлении колхоза. Пока они этим путем удостоверались в

подлинности друг друга, тот был сам не свой, как будто сидел на угольях. Он просто не находил себе места и то хватался за стул в великом волнении, то воровски озирался на другие столы, как бы стараясь различить невидимую опасность. Сомнение, колебанья, борьба были написаны у него на лице. И вдруг — была не была! — он решился. Он быстрым рывком придвинул свой стул к адмиралу вплотную и стал без оглядки выкладывать душу, да так обжигался словами, что обратившийся в слух адмирал, не поспевая неопытным ухом, постоянно его прерывал и переспрашивал.

Так своими словами он передал, как повсюду плодились накожные лица, то есть как в каждом лице укрывалось другое, а всяк принимался двояко в расчет — как пища для власти и как прирожденное, данное Богом, но Богом дьяволу данное средство съеденья по-сменно одними других;

что водворился порядок брать всех в охват за низкое место и возвышать то поднятём, то сбросом и — чтоб душам влетало не меньше, чем телу — с захватом души;

что стало принятым лгать, не кривя, без уклона от правды и, покрывая неправдой, правду без лицемерья душить и давить, то есть лгать, чтоб лгалось, — не примешивать правды, а вмешивать так, чтоб себе к удивленью служила сама же источником лжи;

что правда не била, а ей обок неправда не своевольем дошла до того, что криком кричала на всех перекрестках и в каждое ухо сама о себе, дабы укреплялась у ею же битых людская собачья привязанность к ней, несмотря на толчки и побои;

и что всё это сделано было людям в виде благоденья, для внедренья не тем, так другим, не так, так иначе — то им в спину, то в лоб — их же благополучья, пока с захребетья так их и этак лупило усатым портретом — с повальной привычкой к решеткам и срокам — то столько-то по лбу, то столько-то в лоб!

Адмирал сразу же понял, что наскочил на одного не из тех, которые держали всех прочих в руках, а из тех, которые сами были в руках. Тот ведь не мог быть такого обратного мнения о самых общеизвестных вещах и нести о них несусветные вещи только из духа противоречья. Что бы там ни было, но того, видимо, так прорвало, что он уже просто лез на рожон и ни с чем не считался. При постороннем, да еще и американце, он плел без зазрения совести черт знает что — совершенно невозможные вещи о самых неприкосновенных вещах, и чем выше он забирал, тем делался хуже и хуже...

— Штука вся в том, — услышал адмирал у своего уха, — что вам и не растолкуешь всю полноту, с которой наши хозяева орудуют над нами. И мой русский язык вам никак не понять без повышения уровня общего образования. Вам в нашей шкуре надо пройти курс истории СССР. Ведь надо же знать, как они всеми правдами и неправдами делают с нашими жизнями всё, что хотят, лишь бы гнуть свою линию нашими шеями, как им заблагорассудится.

Был он почему-то не в духе, и напал на него такой стих, что он не жалел крепких слов по адресу власть имущих. И укорял он их вовсе не за себя, как какой-нибудь эгоист, а входил в положение и рассуждал за других, ставя себя на их место.

— Я сам, — говорил он, — устроен совершенно неплохо, имею сытое место, всем обеспечен и живу хорошо — за себя не могу обижаться. Но во мне всё закипает и переворачивается, когда вижу, что творится вокруг, — эту собачью жизнь, которой они заставляют всех жить. Ведь они довели всех — в особенности в деревне — просто до ручки!

Мало того, что он разболтал адмиралу про недовольство, которое будто было повсюду в низах, — он забрал круто вверх и пошел косить по верхам без церемоний вплоть до самой верхушки. Он судил возмутительно, касаясь верхов, которые, как он изображал,

были вовсе не на высоте положенья. Тут уж он совершенно хватил через край: стал выставлять низкие свойства высоких персон, не спрашивая у них позволенья. Послушать его — получалось, что верхушка страны и не справлялась с работой, и жить не давала всем остальным, и вообще, как ни кинь, не соответствовала своему назначенью. Он совершенно несправедливо на них нападал, и очень свирепо, почему-то за неспособность и даже за тупость, а ума в них никакого не замечал. Он рассуждал совсем как сумасшедший, попрекая вождей. К ним он не выказывал ни понимания, ни сочувствия. Высшие лица великой страны, по его мнению, были не что иное, как на всё способные заговорщики. Он договорился в конце концов до того, что в один прекрасный день их обязательно скинут. Да и к самой Великой Октябрьской Революции — событию общепризнанной величины — у него не было ни жалости, ни участия. Несмотря на ее сверхчеловеческую цену, он ею нисколько не дорожил и платил ей за все достижения черной неблагодарностью.

Всё это было совсем не похоже на социалистический реализм и пахло к тому же еще скверным государственным преступлением. Ведь он выдал адмиралу целый ворох государственных тайн, которые содержались в секрете от собственного населения, как-то: настоящую жизнь страны, ее настроенья, желанья, надежды и прочее и прочее, а также истинные физиономии правителей. И упирал он особенно на подлость и безжалостность вождей и на бессовестное попираание ими всех правил честности и порядочности. Это заедало его больше всего и сильнее всего брало за душу.

Кончил он тем, что с безрассудством, совершенно немыслимым, заявил, что... «и мы поднялись бы в одну ночь все как один, чтобы повторить великую революцию. Но загвоздка вся в том, что повсюду стукачи и сексоты — не знаешь, на кого положиться».

Расставаясь, они сговорились встретиться снова ровно через месяц. Но встреча не состоялась, потому что тот не явился. У адмирала не было способа, чтоб дознаться, передумал тот, побоялся или ему помешали. Зато, возвращаясь в Москву из отпуска через тот же Берлин, он имел еще раз большую разговорную практику. Началось всё с того, что у проводника опустились руки, когда купе, предназначенное адмиралу, оказалось набито своими. Он посадил адмирала наудачу в другое купе. Но туда же протиснулся и танковый офицер с огромными чемоданами и тюками, которыми он завалил всё купе, пока, наконец, втиснул их и кое-как разместил.

Василий — так его звали — был уже далеко не молод. Волосы у него были цвета песка, руки были большие, рабочие, а лицо угловатое и в бороздах, как грецкий орех.

Разговор у них легко завязался.

— Много народу, — сказал адмирал.

— Прекрасный народ.

— Конечно, конечно, прекрасный, — подтвердил адмирал, которому всё больше и больше казалось, что это так, чем больше он видел страну.

— Вашей жене не понравился Берлин?

— Здесь — не дома и очень разбито. Захотела вернуться, несмотря на трудности со снабжением. У нас был свой домик в Ленинграде, но во время блокады разбили. Теперь живет с детьми на даче и довольна. Россия — прекрасная страна, — и он выскочил в буфет глотнуть водки.

Вскоре вошел молодой полковник со здоровым румяным лицом, в орденах на широкой груди и со светлой волнистой шевелюрой и сказал:

— Василий, давай поедим. Кто это? — и он ткнул пальцем в сторону адмирала.

— Американец, едет в Москву.

— Спроси его, будет пить с нами?

Затем Николай (так звали его) спросил адмирала, зачем он едет в Москву.

— Работать.

— Какая работа?

Адмирал сказал.

— А! шпионить!

Адмирал возразил, что нельзя быть хорошим шпионом, будучи в форме, всякий, де, видит, кто он таков. Николай прояснился.

— Будете пить с нами водку? — и он достал запечатанную бутылку и закуски, не смог вышибить пробку и пропихнул ее пальцем внутрь. Адмирал налил себе чуть-чуть. Но те не брали.

— Больше, больше!

Они продолжали сидеть, понурясь, пока адмирал не налил свою стопку до краев. Тут они повеселели, налили себе и все вместе выпили за здоровье друг друга. Николай подсчитал ленточки на колодке у адмирала и окончательно смягчился, насчитав на две больше, чем имел сам.

Заговорили о том и о сем, обходя политику, гордились Советским Союзом, его целями и успехами, и сошлись все на том, что война — очень скверная вещь.

— А все-таки она будет, — сказал вдруг Николай мрачно.

— Может случиться. Было бы очень плохо, — сказал адмирал.

— Да, но она будет, и очень скоро.

— Но ведь ни мы, ни вы не хотим войны.

— Василий, запри дверь, — сказал Николай, понизив голос, и убежденно повторил:

— Будет, будет.

Его поддержал и Василий.

— Будет, будет, — твердили они оба.

Адмирал возражал, говоря, что Америка с ее государственным строем не может так вдруг, здорово жи-

вещь, начать войну. Они разгорячились, и оба осаживали друг друга рукой, когда голоса повышались.

Вдруг раздался стук в дверь.

— Не впускай, — сказал Николай. — Будет, и скоро будет, — продолжал он повторять.

— Когда?

— Через три месяца, — уверенно сказал Николай и показал три пальца.

Тут стук в дверь повторился.

— Скажи им, что нельзя... нельзя!

— Но почему? Ведь Америка никогда первая не начнет войны, — пытался возражать адмирал пониженным голосом.

Николай вместо ответа начал рыться у себя в грудном кармане и вытащил свой партбилет. — Покажи ему и ты свой, Василий!

Адмирал отдал им оба билета.

— Будет, будет, — повторял Николай, показывая три пальца, — и не вы начнете, а мы...

Тут в дверь застучали настойчиво, и послышались громкие голоса.

— Впусти их, — сказал Николай.

То был польский пограничный контроль.

Кроме столиц и поезда, адмирал обучался и в дальних концах, где брал уроки наездом из местных ресурсов.

Высокой точкой его поднятья была Давид-Гора в Тифлисе с фуникулером до самого неба, широким видом на закавказские дали и могилой Грибоедова у подошвы. Во время прогулки по плоскому верху горы неизвестный стал ходить за ним по пятам. Слово slezhka, приставшее к иностранцам, как сексот к самим русским, прочно сидело у него в словаре. Чтоб с ней же расширить словарь ее собственным словом, он зашел себе в тыл, слежке в лоб, вызываясь на очную ставку. Но слежка своим манером ловко вышла из положенья,

поворотив с дороги в кусты и маскируясь на лоне природы отпавлением неудобной, но спешной нужды.

Случай тут доглядел, чтоб воинское подразделение как раз подоспело к месту происшествия. Адмирал объяснил командиру, что тот, подозрительный, то ходил за ним по пятам, а теперь сам играет в прятки. Командир, взятый в лоб посреди камуфляжей, с места не мог ничего доискаться. Но, отделившись от строя и взяв палку с другого конца, схватил положение и живо в нем разобрался. Дальше всё пошло окольным путем и разрешилось общей увязкой. Кончив дознание, он успокоительно замахал рукой и сказал, что, как ни возьми, человек это честный, и его не стоит бояться.

— Честный, честный, — повторял он еще и еще адмиралу.

— Chestny, — заметил себе адмирал самолюбивое гордое слово.

«Языковые трудности адмирала» есть продукт коллективного творчества. Канва их заложена в книге самого адмирала «Назначение в Россию». Вышивал здесь по ней и выкраивал беглый родственник собеседников адмирала. Сочинили высокие пациенты: не втешись повсюду они, языковые трудности не имели б примеров, рассказанных в тексте.

Мое возвращение

Итак, я вернулся. Вернулся, к радостному изумлению друзей. Вернулся, к горестному недоумению врагов. Уже почти месяц прошел со дня моего освобождения, а сенсация не уменьшается, а количество вопросов, обращенных ко мне, не становится меньшим.

Пора дать отчет моим друзьям о всем пережитом. Начинаю.

1. КАК ЭТО БЫЛО

С января 1969 года для меня стало ясно — меня арестуют. Трудно сказать, на чем основывалось это убеждение. Но убеждение было ясным и определенным. Интуиция?

Не только. Еще и умение быстро схватывать политическую ситуацию, приобретенное десятками лет политической одержимости (только так можно назвать напряженный интерес к политике, который был мне свойственен всю жизнь).

Освобожденный в августе 1970 г. из 11-месячного «предварительного заключения» А. Э. Левитин-Краснов ждет суда. Сообщение, что суд будет в январе («Посев. Спец. выпуск» 6/71), не подтвердилось (м. б. отложен из-за XXIV съезда КПСС). Публикуемый очерк распространяется Самиздатом. Биографии друзей, упоминаемых автором, см. в конце очерка. — Р е д.

В конце января 1969 года произошло очередное качание политического маятника, качание вправо — к сталинским временам. Таких качаний после 1956 года было несколько, все они были кратковременны (давно известная истина — колесо истории не поворачивается вспять), но каждое такое качание стоило какому-то количеству людей свободы. Сейчас не время подробно анализировать создавшуюся ситуацию — это дело историков. Сейчас мы лишь констатируем факт.

Политическая интуиция меня не обманула. В марте 1969 г. был арестован Иван Яхимович¹⁾ (председатель колхоза в Латвии), прекрасный человек и убежденный демократ. В мае был назначен в Ташкенте суд над крымскими татарами. В мае началась эпопея с арестом генерала Григоренко²⁾ и Габая³⁾.

Я не случайно сказал — «эпопея». В моей памяти остались навсегда эти жаркие (как редко бывает в мае в Москве) дни. Жарища, лихорадочно прыгающее по бумаге перо, остервенелое стуканье машинисток, взволнованные лица товарищей, неутомимый, крикливый, темпераментный Якир⁴⁾, никогда не унывающий и не знающий усталости и отдыха; сдержанный, нервно напряженный, как бы готовый к прыжку, с фосфорически сверкающими глазами Красин⁵⁾, бледные, по-видимому, спокойные (но чего стоило это спокойствие) жены пострадавших.

Особенно ярко запомнился один эпизод. Позвонив по телефону одной из наших женщин, я узнал о стихийной демонстрации у памятника Маяковскому крымских татар и об опасности, нависшей над дочерью нашего близкого друга. Стремглав я направился на квартиру, где рассчитывал узнать всё во всех подробностях. Мне открыла дверь несчастная мать. Помню кухню, взволнованных людей; из комнаты выходит бледный, сдержанный, но с лицом, перевернутым от пережитого волнения, Красин. Подходит ко мне, кладет руки мне на плечи, рассказывает о происшедшем.

Скрывать нечего — все кончилось благополучно. Но он говорит шёпотом. Шёпот прерывающийся, лихорадочный. Я слушаю молча, и ощущение какой-то особой близости охватывает меня; я чувствую, что эти люди сейчас для меня дороже родных, близких, дороже всех на земле.

Я никогда не забуду этих дней. Я не только подписал обращение в защиту П. Г. Григоренко и И. Я. Габая и вошел в Комитет борьбы за права человека, но и сам написал статью о Григоренко («Свет в оконце*»), хотя и совершенно ясно отдавал себе отчет в том, что меня за это арестуют. Не мог не написать, всё во мне переворачивалось при мысли, что я буду сидеть в хорошей квартире (мне как раз в это время предоставили квартиру вместо сломанного дома в Ново-Кузьминках), писать никому не нужные теоретические статьи и редактировать еще менее кому-либо нужные «кандидатки» студентам Академии в то время, когда люди мучаются за правду. И я не колебался ни минуты — я написал.

Между тем тучи сгустились: в июне был арестован в Вятке (Киров) церковный писатель, своеобразный, даровитый шестидесятисемилетний старик Б. Талантов⁶), а затем начали тягать моих знакомых, стали распространяться слухи о моем аресте, меня стали предупреждать о том, что осенью я буду арестован...

И вот двенадцатого сентября в пять часов вечера раздался звонок, резкий, нахальный, — я сразу понял, в чем дело, ко мне никто никогда так не звонил. Открываю дверь. Офицер в милицейской форме, и за ним — гурьба людей. Милицейский офицер быстро улечивается. Входят штатские. Какая-то дамочка средних лет мило шутит:

— Сколько гостей сразу! — и сует мне под нос

*) См. журнал «Посев» № 11 за 1969 г. стр. 37. — Ред.

книжечку. В книжечке фотография, фамилия и звание: «Акимова. Старший следователь Московской прокуратуры». Говорю:

— Слышал про вас.

Несколько удивлена: — Даже?

Я действительно слышал про нее, что ей иногда поручают политические дела, что она любит корчить из себя либералку, но очень проворно выполняет все задания стоящих за ее спиной.

— Что вам угодно?

Мне предъявляют ордер на обыск. Гости рассаживаются. Начинается. Я разглядываю гостей. Сама Акимова — суетливая, разбитная, типичная московская деловая дама. Вначале говорит раздраженно, как бы делая сцену мужу, потом «входит в норму», начинает говорить обыкновенным бытовым тоном. Ей помогает мужчина средних лет (с серой, незапоминающейся наружностью) — это оперуполномоченный. Около них вертится какой-то женственный парнишка, который всем мешает, всюду шныряет, пытается вступить в разговор со мной. Видимо, мелкий шпик. Двое понятых — пожилые люди, в шляпах, сидят как идолы, совершенно молча, с выпученными глазами, напряженно смотрят прямо перед собой. Так продолжается четыре часа.

Далее начинается длинное совещание Акимовой с опером в ванной комнате, куда они удаляются. Натянутым тоном она обращается ко мне:

— Анатолий Эммануилович! Вам придется проехать с нами.

— Вы предъявили только ордер на обыск.

Акимова (*поспешно, поправляя прическу*): Нет, нет, я вас не арестовываю, что вы! (*Опер тоже издает какой-то протестующий звук.*) Я приглашаю вас для беседы.

Я: Что за беседы в одиннадцать часов?

Акимова (*вкрадчиво*): Мы работаем и ночью. Просим вас проехать вместе с нами, Анатолий Эммануилович. Мы имеем право задерживать вас до трех дней.

Спорить бесполезно. Одеваюсь. Спускаемся на лифте. Садимся в автомобиль. Приезжаем в милицию, в семьдесят второе отделение — на Волгоградском проспекте. Акимова светским тоном роняет замечания:

— Вам придется здесь остаться, Анатолий Эммануилович. Я приеду завтра утром.

Опер поясняет:

— Нам же надо разобраться в материалах обыска.

Молча прохожу в дверь, ведущую в арестантское отделение. Прохожу коридором, милиционер открывает с лязгом дверь, — вхожу. Она с шумом захлопывается за мной.

Совершилось! Я снова в тюрьме.

Это уже третий раз.

24 апреля 1934 года — восемнадцать лет — ГПУ, Ленинград — Шпалерная.

8 июня 1949 года — тридцати трех лет — МГБ, Москва — Лубянка.

12 сентября 1969 года — пятидесяти четырех лет — милиция — Москва.

Ко всему на свете привыкаешь. В восемнадцать лет я держал себя с аффектацией. В душе я был доволен. Передо мной носились образы всех на свете знаменитостей, сидевших по тюрьмам, — от Жанны д'Арк до Льва Давыдовича Троцкого (я ведь вырос в двадцатые годы). В 1949 году я — что греха таить — волновался и боялся. Что я чувствую сейчас? Ничего. Вспоминаю, что не попал на именины, здороваюсь с парнишкой, который находится в камере, ложусь рядом с ним на нары и вскоре засыпаю. В милиции я пробыл трое суток. (Как на другой день объяснила Акимова, ввиду прекрасной погоды всё начальство на даче, тринадцатого и четырнадцатого сентября — суббота и воскресенье.) В понедельник пятнадцатого мне вручили следующий документ:

«На протяжении многих лет Левитин Анатолий Эммануилович, 1915 г. рождения, уроженец г. Баку, прож. в Москве,

Кузьминская ул., д. 20, корпус 1, кв. 418, занимается изготовлением, размножением и распространением материалов, порочащих советский государственный и общественный строй, и систематически подстрекает граждан к нарушению законов об отделении церкви от государства. (Далее следует перечисление 15-ти моих работ.) Таким образом, Левитин А. Э. совершил преступления, предусмотренные ст. 190¹ и ст. 142 ч. 2. В связи с этим против Левитина А. Э. возбуждается уголовное дело. Мерой пресечения назначается арест».

Я ответил на это обвинение и на соответствующий допрос следующей формулой, которую повторял на всех этапах следствия с упорством маньяка (по существу ничего другого я и не говорил):

Виновным себя ни в чем не признаю. Никакой клеветы ни на кого в моих произведениях нет, а есть правда, одна только правда, ничего, кроме правды. Мой арест — лучшее подтверждение правильности моих утверждений о том, что в нашей стране всё еще существуют произвол и беззаконие. Никаких законов я никого нарушать не подстрекал, а критиковал отдельные законы, добиваясь легальным путем их изменения. Я категорически отказываюсь называть имена каких-либо лиц, которым я давал читать мои произведения или которые мне помогали в их распространении.

II. НОЧЬ СКИТАНИЙ

Как неприятно писать о моем деле, как хочется писать о людях, о тех людях, с которыми меня столкнула судьба.

Пятнадцатого сентября начались люди: еще в милиции я получил передачу. Передачу принес, как мне сказали, высокий красивый мужчина с орденскими ленточками и девушка. Сразу понял: Вадим Шавров⁷) и Люда⁸). Через несколько дней в Бутырках получил денежный перевод — сорок рублей с необычной над-

письму: «От друга Вадима Шаврова». (Как правило, переводы принимаются только от близких родственников; но есть ли что-нибудь невозможное для Вадима? Он всегда добьется всего, чего захочет.) Разумеется, вряд ли было благоразумно для Вадима Шаврова подчеркивать в этот момент свою дружбу со мной (я первый не посоветовал бы ему это делать), но разве Вадим Шавров когда-нибудь и в чем-нибудь руководствовался благоразумием, тем мещанским благоразумием, которое создало столько трусов и подхалимов, но никогда не создавало героев. В это же время В. М. Шавров обратился к Брежневу с заявлением по поводу моего ареста. Характерно, что его престарелая мать, которой он рассказал об этом, сказала: «Да, Дима, ты должен это сделать. Если не ты, то кто же?»

Вадим много раз обращался в ЦК по поводу этого заявления. Он говорил с работниками аппарата ЦК, Богдановым и Мишениным. Из ЦК ему сухо ответили: «ЦК существует не для того, чтобы заступаться за всяких преступников (сановник замялся), за гражданина Левитина».

И рядом с Вадимом молодая женщина, почти девочка, Людмила Кушева. Впоследствии, в Бутырках, я не раз получал от нее передачу как от племянницы. Кто не знает Люды среди честных людей Москвы? Она везде и всюду, где требуется дружба, участие, тепло. Она везде и всюду, где требуется ум, нежность, решительность, смелость.

«Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного...»
Как отраднo встречать в мире хороших, добрых людей.

И женщины... В одном из своих последних произведений, в «Строматах»*) (1968 г.), я сказал несколько

*) См. отрывки из «Стромат»: «Орлиная песня» в «Посеве» № 7, 1969, «О подлинной сущности христианства. Слово христианина» в «Посеве» № 12, 1969. — Ред.

горьких слов о женщинах, хотя тут же привел примеры героических женщин в нашей среде...И вот снова слово о женщинах. Женщины. О них говорят все революционеры, все мистики, все вдумчивые люди. У Герцена в его «Былом и думах» есть лирическое место, где он вспоминает женщин, стоящих у плахи, у виселицы. «И у креста были женщины...» — заканчивает он эту страницу. Да, были. Об этом говорит Иоанн: «При кресте Иисуса стояли Мать Его, и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина» (Ин. XIX, 25).

И Лука: «... И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем» (Лк. XXIII, 27).

И Марк: «Были тут и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия, которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в Иерусалим» (Мк. XV, 40-41).

И Матфей: «Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему» (Мф. XXVII, 55).

И я во время моего заключения всё время чувствовал женскую ласку, женскую заботу, женскую любовь*). Тут была и жена отца моего, заменившая мне мать, и многие другие, которые не позволяют мне говорить о них.

Но спустимся с лирических высот; спустимся, чтоб сойти в очень мрачное место — в отделение милиции на Волгоградском проспекте, из которого в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое сентября меня повезли в тюрьму. В первом часу меня вывели из милиции и втиснули в «воронок». Боже! Что это было за зрелище:

*) Я не боюсь в данном аспекте сравнивать себя с Христом, ибо Он сам дал это право всем без исключения заключенным (Мф. XXV, 36-40; 43-45). — А. К.

мрачные субъекты с небритыми перекошенными физиономиями, в шляпах с отломленными тульями, воры, бандиты, развратители малолетних. Среди них мне предстояло жить одиннадцать месяцев; здесь время остановиться на одной важной проблеме — на проблеме политических заключенных. Прежде всего, чтобы устранить всякие личные моменты, отмечу: от того, что я был среди уголовников, я нисколько не страдал. Я был со всеми ними в лучших отношениях. Когда меня спрашивали, не обижали ли они меня, — я отвечал: «Нет, скорее я обижал их». Действительно, мне часто бывало стыдно за то, что я не могу платить им тем же уважением, вниманием и заботой, которые я видел с их стороны, не говоря уже о том, что некоторым из них приходилось испытывать вспыльчивость и раздражительность, представляющие тяжелые и неприятные стороны моего характера.

И тем не менее: позволительно ли сажать политического заключенного вместе с уголовниками?

На этот вопрос юристы всего мира единодушно отвечают: нет. Нет — потому что пребывание честного человека в среде уголовных преступников — подонков общества, с их своеобразными чертами: грубостью, жестокостью, полной интеллектуальной и нравственной неразвитостью, — является, по существу, замаскированной пыткой. Нигде люди до такой степени не бывают близки друг другу, как в тюрьме или в лагере, — здесь люди делят и стол, и работу, и даже ложе, потому что спят почти все вповалку. И вот всё время вы видите рядом с собой страшных людей — людей, способных на всё, с которыми избегают встречаться на улице ночью. Кроме духовной пытки, политический заключенный чувствует себя униженным: его поставили на одну доску с ворами, бандитами, убийцами. В царской России все политические заключенные, кроме присужденных к каторге, содержались отдельно от уголовников. Так было и во всех цивилизованных стра-

нах. Исключение составляет Россия при Сталине. Тому, что Сталин, который не признавал никаких человеческих норм, нарочито смешивал политических с уголовниками, — удивляться, разумеется, не приходится. Это было (наряду с пытками, побоями заключенных) одним из проявлений реставрации средневековья. Можно не удивляться также и тому, что в 1956 г. (при Хрущеве) политические были отделены от уголовников. Сейчас также политические официально отделены; однако для того, чтобы их все-таки сажать вместе с уголовниками, проделан следующий удивительный фокус: политическими заключенными считаются обвиняемые или осужденные по ст. 70*); привлеченные же по ст. 190¹**)) рассматриваются как уголовные преступники. Между тем нет ничего более глупого, чем подобная «классификация». В самом деле, кого считать политическим или государственным преступником? Того, действия которого направлены непосредственно против государства. Того, кто *идеологически противопоставляет себя государству*. Но разве лица, обвиняемые по ст. 190¹, не относятся именно к *идеологическим*, идейным противникам государства? Относятся в не меньшей степени, чем лица, привлеченные по ст. 70. Чем же объяснить, что содержат их вместе с уголовниками?

Никаких других причин, кроме желания нанести им нравственную травму, нет и быть не может. А ведь не всякий так легко, как пишущий эти строки, находит контакт с людьми. Как, например, должен чувствовать себя Борис Владимирович Талантов — шестидесятилетний учитель математики, находящийся в настоящее время в лагерях за свои писания, вверженный в

*) Статья 70 Уголовного Кодекса РСФСР: «Антисоветская агитация и пропаганда». — Р е д.

***) Статья 190¹ УК РСФСР: «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». — Р е д.

среду уголовников, — и тысячи других, подобных ему людей?

Поэтому настоящей необходимостью является в настоящее время — отделение всех заключенных, арестованных по идеологическим мотивам (религиозным, политическим и др.) от уголовников. Это есть самое элементарное условие всякого цивилизованного (не-средневекового) права. Обо всем этом я думал, сидя в «воронке», рядом с какой-то странной личностью, которая ловила всё время воображаемых мух (алкогольный психоз).

Наконец привезли нас в тюрьму на Матросской Тишине (вместо Бутырок, как обещала Акимова). Подъезжаем. Первая тюремная ночь. Как трудно описать тюрьму тому, кто никогда не был в ней. Представьте себе огромное здание вроде вокзала, в котором целые ночи напролет горит свет, в котором, как в гигантском муравейнике, круглые сутки снуют взад и вперед люди, — и вы получите представление о тюрьме большого города.

И вот — ночь. Электричество. Толпы людей. Десятки процедур. В это время людей все время перебрасывают из камеры в камеру в ожидании очередной процедуры. Камеры небольшие, метров на двадцать каждая, с голыми двухъярусными железными койками, спускным клозетом; всюду спертый воздух, матерящиеся мужчины, грязь... Вас ведут к врачу, вас ведут от врача, вас ведут сдавать вещи, вам дают квитанции; всюду вас заводят в камеры, вас выводят из камер; всюду оклики, команды, брань, — и всюду люди, люди, люди... «Откуда вас столько»? — вырвалось у одного офицера, встречавшего нас на Матросской Тишине. *Действительно, откуда?*

Здесь я имел свое первое столкновение с представителем администрации. Это был начальник изолятора № 1 майор Иванов. Очень неприятно вспоминать личный обыск, когда несколько десятков раздетых муж-

чин стояли перед обыскивающими нас и матерящимися не хуже любого мужика женщинами. Обыскивающие нас сотрудницы отбирали ключи, деньги и все личные вещи, которые тут и вносились в опись. На мне был крест. Крест обычно снимается с заключенного, вносится в опись и выдается при переводе в другую тюрьму или при освобождении. На этот раз молодая шустрая девчонка, отобрав у меня крест, заявила:

— В опись вносить не будем — выбросим. — И снова повторила: — Мы его выбросим.

В ответ я поднял скандал. Девчонки смутились. Одна из них начала меня убеждать:

— Вы думаете, он поможет вам скорее выйти отсюда?

Другая сказала:

— Ну я не знаю. Ну как же мы будем вносить в опись крест? Ну разве это можно? Поговорите с начальником тюрьмы. Он как раз здесь.

Ко мне вышел высоченный майор. Между нами произошел следующий диалог:

— Чего тебе? Зачем тебе крест?

— Во-первых, не тыкай. Говоришь с человеком, который старше тебя.

— А ты почему знаешь? Может, я старше. (Ему не было и сорока).

— По уму вижу. Ум у тебя как у пятилетнего ребенка. Крест принадлежит мне и как все личные вещи должен быть внесен в опись.

— Не тебе, а — попу(! — А. К.). Не вносите крест, — выбросьте.

Так и пропал мой крест. Впрочем, в одном я уверен: его не выбросили, — кто же станет выбрасывать золоченый крест на серебряной цепочке?

Недолго мне пришлось быть в тюрьме на Матросской Тишине, — всего несколько часов. Успел только помыться в бане и побывать в общей камере. Тут же меня вызвали и сказали (очень вежливо): «Произошла ошиб-

ка. Сейчас вы поедете в другой изолятор». Посадили меня в автомобиль с эмблемой Красного Креста и повезли в Бутырки.

III. БУТЫРКИ

И вот ровно через двадцать лет я в Бутырках. В 1949 году я был здесь как раз в сентябре. Странное ощущение — я обрадовался, увидев эти стены, боксы из зеленого камня, широкие лестницы. Видимо, прошлое (даже самое паршивое прошлое) имеет необыкновенную власть над человеком. Здесь снова был обыск. Но Бутырки — старая тюрьма. Здесь всё размеренно, слаженно, четко. Старые бывалые надзиратели. С одним из них я вступил в разговор. Он сказал мне:

— Ну зачем вам было всё это писать? Всё равно же ведь никто не прочтет. Я вот, например, не прочту. Прочтут всё такие же ученые, как вы, а они и так всё знают.

В ответ я сослался на Лермонтова, на известный афоризм об искре и т. д. Пример Лермонтова, видимо, произвел впечатление:

— Да, Лермонтов — человек. Хорошо писал.

Другой надзиратель спросил:

— Да что они пишут-то?

Мой седовласый собеседник неожиданно дал довольно квалифицированное объяснение:

— Они пишут, критикуют, — потом это попадает за границу. Они вроде как раньше были революционеры.

После обыска — баня, знаменитая Бутырская баня, воспетая Солженицыным в его «Круге первом». И, наконец, опять камера. Сначала меня посадили с хулиганами. Пожилые пропойцы, которых посадили жены. Все они проклинают жен, и ко всем проклятиям — рефрен: «Семью разрушают, сволочи!» Но попадают и

иные: так, на прогулке ко мне подошел молодой человек, который спросил, не знаю ли я о судьбе Бурмистровича⁹). Я уже знал о том, что Бурмистрович получил три года лагерей, и сказал об этом собеседнику, а затем спросил, откуда он знает о Бурмистровиче. Оглядевшись по сторонам, мой собеседник шепнул: «Я кандидат математических наук и товарищ Бурмистровича по аспирантуре. Только никому не говорите. Неудобно, я сижу по такому делу...» А сидел он за ограбление магазина. Он оказался сыном крупного работника-коммуниста; когда пришла ему передача, он отказался ее принять, так как она была от имени мачехи, а не отца. К сожалению, мне не пришлось с ним поближе познакомиться. Вскоре меня перевели в «спецкорпус». Спецкорпус — это особое отделение в Бутырках. Раньше там сидели (с 1925 г. по 1938 г.) меньшевики и эсеры, которым расстрел был заменен долголетним заключением. В старое время это было отделение для политиков. В тридцатые годы там сидели троцкисты. Сейчас там сидят крупные расхитители. Камера похожа на гостиничный номер: больше четырех человек там не бывает. Имеется даже умывальник и зеркало. Есть и еще одна принадлежность, о которой меня предупредил еще в милиции один парнишка: «Если посадят в спецкорпус — держите ухо востро: там всегда стукачи». В моей камере было три человека, знакомство с которыми произвело на меня впечатление. Представляю их читателю.

Один из них: Михаил Федорович Ленский. Высокий, сухощавый, пятидесяти семи лет. Начальник отдела капитального строительства Министерства просвещения РСФСР. Украинец. Женат. Имеет трех взрослых детей. Имущественное положение: зарплата — 230 руб. Распределитель (продуктами самыми высококачественными на 200 руб.), — до знакомства с ним я не знал, что в Москве существуют распределители. Его жена — работник Президиума Верховного Совета СССР. Имущественное

состояние — такое же; два сына — лейтенанты КГБ, дочь — студентка Педагогического института им. В. И. Ленина. В ведении Ленского 130 педагогических институтов. Каждое лето начинает работать телефон; товарищ Ленский обзванивает ректоров: «Я тебе отремонтирую отопление, — устрой мне двух парней, устрой мне девчонку». С каждого «парня» и с каждой «девчонки» берется 1500 — 2000 рублей. Клиентура в основном набирается в Грузии через двоих агентов. Каждый год устраивается, таким образом, больше сотни человек. За двадцать лет накопилась какая-то поистине астрономическая сумма. Достаточно сказать, что дело Ленского насчитывало сто двадцать томов, и закрывал он его около двух месяцев.

Затем Толстов: литератор, редактор журнала «Строитель» (впрочем, был он также одно время сотрудником журнала «Наука и религия», этого, как всем известно, «Ноева ковчега» проходимцев). Толстов сидел за «литературные дела»: он присваивал себе гонорары сотрудников. У него насчитывалось четыреста восемьдесят эпизодов, сто тридцать томов; следствие длилось два года.

И наконец — № 3 (фамилии не помню): снабженец, тридцати двух лет, с пузом, наружность трактирщика. Однажды подходит ко мне на прогулке, говорит:

— Анатолий Эммануилович! Дело мое хорошо обрачивается: через два-три года буду на воле, но с партией — кончено. Как сделаться священником?

— А в Бога вы веруете?

— В Бога? Да я могу поверить и в Бога.

Чувствую, что нехорошо пишу об этих людях, с желчью. Но что поделаешь? Вызывают они во мне недобрые чувства. Были все мои «расхитители» убежденные «сталинисты», все они боготворили Сталина и ненавидели Хрущева. Особенно много говорил Толстов; хвастун и всезнайка, он утверждал, что уже есть решение: «к 1979 году реабилитируют полностью Сталина

и всех его соратников (и даже Берия) и торжественно отпразднуют столетие со дня сталинского рождения». Был он якобы дружен с Василием Сталиным и рассказывал про него всякие небылицы. Разумеется, Сталин не ответственен за таких поклонников; сам он никого не учил воровать казну и даже очень жестоко преследовал за это. И всё же не случайно все трое — поклонники Сталина.

Л. Н. Толстой однажды сделал очень глубокое замечание: «Петр Первый показал жестокость, безумие, распутство власти. Он расширил рамки. Появилась Екатерина. Если можно головы рубить, то почему любовников не иметь?»*).

В самом деле, — деспотизм есть распутство власти (это очень здорово сказано). А одно распутство порождает другое; отсюда и казнокрадство: если можно головы рубить, миллионы людей в тюрьмах гноить, почему нельзя казенные деньги воровать?..

IV. ПОЕЗДКА НА КАВКАЗ

Девятого октября 1969 г. в шесть часов утра открылась кормушка (так называется по-тюремному отверстие в двери, через которое подают пищу), и голос надзирателя произнес:

— Левитин!

Я ответил, что дежурил накануне (в тюрьмах существуют дежурства по уборке помещения), но надзиратель сказал:

— На этап.

Всеобщее удивление: этап? какой этап? Однако делать нечего: собираю вещи, выхожу в коридор. Вижу: конвоир сам несколько удивлен — засматривает в дело.

*) В. Ф. Булгаков. «Л. Н. Толстой в последний год его жизни». ГИЗ, 1957 г., стр. 402. — А. К.

— Вы где жили? В Москве?

— В Москве.

Осторожная пауза.

— А то, что вы делали, где делали?

— Тоже в Москве.

— А едете вы далеко... на курорт.

Я не обратил внимания на эти слова, решив, что это шутка, «курорт» — какая-то другая тюрьма. Однако и внизу мне снова сказали, когда я не хотел брать хлеб на три дня: «Берите, берите, ехать далеко, на курорт». Наконец симпатичный паренек лет двадцати, в очках, подсмотрев в бумагах, шепнул:

— Вы — Левитин? Нам ехать в одном направлении. Мне — в Краснодар, вам — в Сочи. Давайте знакомиться: я — Жорка.

И неожиданно я отправился на Кавказ.

Почему и зачем на Кавказ?

В жизни всё смешанно: трагедия и комедия, свет и тень. И особенно изобилует жизнь анекдотами. Поездка на Кавказ, о которой пойдет сейчас речь, — это юридический анекдот, скверный, но и забавный анекдот.

Среди моих многочисленных знакомых есть некто Михаил Стефанович Севастьянов — очень своеобразный человек. Выходец из старообрядческой семьи, он с ранней юности был помешан на древних рукописях, иконах и тому подобных редкостях, которыми сейчас увлекаются многие (и даже, как это ни странно, ультра-современный Якир). Михаил Стефанович заглядывает в самые глухие углы, где еще сохранились старообрядцы, — в Сибири, в Горьковском крае и так далее, — и всюду находит древние книги. Должен сказать, что объективно им проделана большая культурная работа: ведь многие из этих рукописей, свято чтимые дедами, ныне валяются у внуков на чердаках; выдранными из них листами накрывают крынки, делают из них кулёчки, растапливают печки. И вот сотни ценных книг М. С. Севастьянов спас от истребления; достаточно сказать,

что среди его коллекции имеются экземпляры книг, изданных первопечатником Иваном Федоровым, а также рукописи XV-XVI вв. Я не знаю в точности почему и как, но при собирании этих рукописей М. С. Севастьянов вошел в столкновение с какими-то законами. Я познакомился с Михаилом в доме одного ныне покойного протоиерея, и несколько раз он бывал у меня в доме, ночевал у меня и фотографировался вместе со мной, будучи у меня в гостях на именинах. В мае 1969 года он был арестован в г. Сочи, и при обыске, наряду с древними рукописями, у него были найдены и рукописи, так сказать, не столь древние — мои статьи и работы.

Это и дало следствию формальную возможность объединить мое дело с делом Севастьянова и увезти меня из Москвы.

Чтобы понять всю анекдотичность этого эпизода, следует учесть, что в Москве у десятков людей находили при обысках мои работы и никто не привлекал за это к ответственности; еще в мае никто не привлекал к ответственности за это и Севастьянова, и только через четыре месяца, в сентябре, когда дело Севастьянова было уже передано в суд, вдруг «спохватились» и выдвинули против него обвинение по ст. 190¹, приплюсовав ее к другим его статьям, и объединили его дело с моим. Так началась моя кавказская «Одиссея».

«Одиссея» началась с того, что меня посадили в элегантно отполированный снаружи, блестящий свежей краской «воронók» и повезли по московским улицам. «Бутырки» всегда, во все времена считались наиболее либеральной из тюрем. Эта традиция сохранилась, видимо, и сейчас. Бутырская карета не похожа на «воронók»; обычный тюремный «воронók» представляет собой настоящее орудие пытки; в крохотное помещение втискивают около тридцати человек, которые стоят впритык друг к другу, точно сельди в бочке; потные, ошалевшие от жары, они пребывают в каком-то полу-

бессознательном состоянии; «воронók» герметически заперт, и рассмотреть из него ничего нельзя.

В противоположность этому из Бутырок возят в просторной карете по шесть-семь человек, которые сидят на скамейках; сквозь едва прикрытую дверь вы видите московские улицы. Ровно двадцать лет назад по этим же самым улицам меня везли на Ярославский вокзал, откуда я отправился на Север, в лагерь. Так и сейчас по Садовой улице, мимо Колхозной площади, мимо с детства знакомых мне Спасских казарм, от которых остался теперь только кусочек, меня привезли на площадь трех вокзалов, — только не на Ярославский, а на этот раз на Казанский вокзал.

Там я снова сел в знаменитый «стольпинский» вагон*) (поездил я в этих вагонах в свое время). Но не

*) «Стольпинский вагон» с решетками и без окон — продукт советской фабрикации. Модель вагона была изобретена (1907 г.) в связи со Стольпинской реформой (о хуторах и отрубках) и добровольным массовым переселением крестьян в Сибирь и Среднюю Азию. Вагон 4-го класса, отличающийся большим размером, чем обычные, с помещением для багажа и даже скота и купе, в которых могли размещаться отдельные крестьянские семьи, сменил товарные вагоны, в которых до этого совершались переселения, и был в те годы прогрессивным началом. Что касается ссыльных тех лет, то они пользовались большим комфортом, чем после революции: известно, например, что Ленин, готовивший свержение самодержавия, ехал в ссылку в купе 1-го класса. Поэтому эпизод из времен Третьей Думы со «стольпинским галстухом» приведен автором без связи с предыдущим, тем более, что Родичев извинился перед Стольпиным и взял свои слова обратно. Неверно также утверждение автора, что о государственной деятельности Стольпина ничего в современной России неизвестно. Существует много свидетельств оттуда об особом интересе, и именно в среде молодежи, к этой эпохе нашей истории, в частности, к реформам Стольпина и о верном представлении о них. — Р е д.

всем, может быть, известно, что такое «стольпинский» вагон. В свое время П. А. Столыпин очень обиделся, когда Ф. И. Родичев — известный думский оратор, член Государственной Думы от кадетской партии закончил свою речь восклицанием «Столыпинский галстух!» и нарисовал рукой в воздухе виселицу. Столыпин послал Ф. И. Родичеву вызов на дуэль; думал ли тогда знаменитый государственный деятель, что его имя сохранится в России только в связи с арестантскими вагонами? Знаменитые стольпинские «отруба» (наделение крестьян землей), основание Земельного банка, «третьеиюньская» Дума — всё забыто. Одни лишь арестанты продолжают до сего времени склонять его имя в связи со страшными его вагонами.

Какая ужасная судьба, но и какой урок! Урок для многих государственных деятелей. Но, как говорил Бернард Шоу, «уроки истории отличаются тем, что их никто никогда не извлекает». Я назвал стольпинские вагоны страшными; это не мое выражение — в стихах моего крестного сына Евгения Кушева¹⁰) встречается такое выражение: «Столыпинские страшные вагоны». Они действительно страшные: содрогание чувствуешь уже тогда, когдаходишь в этот вагон. Вагон разделен на две половины, причем разделяет их решетка от пола до потолка. Первое впечатление — клетка для диких зверей. В той части, которая предназначена для заключенных, нет окон, — и разделена эта часть на маленькие клетушки (купе-камеры), имеющие три яруса. В этих купе иногда бывает по пятнадцать-двадцать человек. Самое неприятное здесь — гигиена. Хочется пить — конвоир не дает воды. Только после очень долгих напоминаний он подает алюминиевую кружку воды — одну на пятерых-шестерых заключенных. Кружка переходит из уст в уста (кстати сказать, сифилис — весьма распространенная болезнь среди уголовников, и медицинский осмотр всюду в тюрьмах очень поверхностный). Здесь уместно вспомнить наших

антирелигиозников двадцатых и тридцатых годов, любимым пропагандистским козырем которых были ссылки на «негигиеничность» причастия. Имеется и еще ряд очень больших неудобств при переездах в «столыпинских» вагонах, о которых не хочется писать. Тем не менее люди не унывают. Как и все пассажиры, через полчаса совместной поездки люди знакомятся, разговаривают, привыкают друг к другу. Здесь завязываются кратковременные арестантские знакомства.

Об одном из таких знакомств мне хочется рассказать. Еще в Бутырках, как я сказал выше, ко мне подошел парень, который отрекомендовался моим спутником — Жоркой. Знакомство с Жоркой оказалось одним из самых интересных знакомств в моих тюремных скитаниях. Георгий Супрун (Жорка) — студент из Краснодара, двадцати трех лет, был приговорен к расстрелу и только что, перед нашим знакомством, провел девять месяцев в одиночке, ежеминутно ожидая приведения приговора в исполнение.

История его такова. Сын краснодарского экономиста Георгий неплохо учился, любил читать, после окончания десятилетки поступил в Юридический институт (на заочное отделение). Отпечаток интеллигентности сохранился на нем и в заключении: хороший литературный язык, отсутствие матерщины (в тюрьме — это невероятная редкость у молодого парня), очки — всё это создавало впечатление культурного молодого человека. Он рано женился и имел уже четырехлетнюю дочурку. Однажды его жена уехала из Краснодара в деревню к своим родителям. А он (грешный человек) отвел свою дочку в детский сад и отправился к своей знакомой, о которой он говорил, что она была «хорошей сводней». У нее он застал двух парней, которые выпивали вместе с хозяйкой. Присоединившись к этой теплой компании, Жорка остался и тогда, когда двое парней ушли. Через час ушел и Георгий. Что именно делали Георгий и хозяйка во время этой часовой беседы — дискутировали

о Гегеле или обсуждали проблемы абстрактной живописи, — я не знаю, но только в одиннадцать часов вечера Георгий Супрун был арестован в своей квартире, так как его знакомая была найдена убитой в своей комнате (ей были нанесены четыре ножевые раны).

Убийство было обнаружено в девять часов вечера. Георгий же ушел от своей знакомой не позже четырех часов (это подтверждается тем, что в половине пятого он взял свою дочку из детсада). Единственная улика против Георгия — кровавая точка на манжете рубашки; Георгий, однако, объясняет происхождение этой точки тем, что он порезал палец (палец действительно был поранен), когда резал хлеб. Кровь на манжете была подвергнута анализу. Выяснилось, что это — вторая группа крови. Такая группа была и у убитой, и у самого Супруна. В комнате, где произошло убийство, на столе стояла опорожненная бутылка из-под водки; на ней — кровавые отпечатки чьей-то руки. Это — не рука Супруна. Тогда, может быть, рука убитой? Увы, следствие обратило внимание на эту улику слишком поздно: убитая уже похоронена. Выкапывают труп. Труп разложился; установить, ее ли это рука, невозможно. Страшная беда! Если бы отпечаток не совпал ни с рукой Супруна, ни с рукой убитой, это значило бы, что убийца — не Супрун.

Итак, ничего не обнаружено. Надо искать, искать и искать. Но следствию надоело искать. Принимается версия: убийца — Супрун. Главный аргумент: «Кроме тебя, больше никому». Появляется статья в местной газете: «Хулиган убил честную работницу». (Убитая работала буфетчицей, и о второй ее профессии, в которой, по словам Супруна, она подвизалась, никто не знал. Показательный процесс. Публика наэлектризована. Во время речи прокурора раздаются крики: «Убить его, гада. Убить! Убить!» Приговор — расстрел.

Его переводят в одиночку. Здесь — полная изоляция: ни радио, ни газет, ни передач. Питание ухудшен-

ное. Единственная надежда — адвокат. Он обещал обжаловать приговор.

И вот в тюрьму, в камеру смертника, приходит весть: генеральный прокурор РСФСР вошел в Верховный суд с протестом по поводу приговора Краснодарского краевого суда. Счастье! Радость. Жизнь. Увы! Через два месяца приходит новая весть. Верховный суд РСФСР постановил: протест прокурора отклонить, приговор оставить в силе. Снова тьма. Снова безнадежность. Снова смерть. Администрация тюрьмы предлагает ему писать прошение о помиловании. Это — надежда на жизнь. Но для этого надо признать себя виновным. Он отказывается сделать это. Через некоторое время — новое известие: адвокат написал жалобу генеральному прокурору СССР. Опять долгие месяцы ожидания и снова крах — генеральный прокурор отказался опротестовать приговор. И лишь через месяц — новое известие: Верховный суд СССР отменил приговор как необоснованный и дело передал на новое рассмотрение.

Прошло девять месяцев. Его переводят в общую камеру. Смерть отступила. Но следствие продолжается. Его везут в Москву, в институт им. Сербского для исследования. Видимо, следствие втайне надеется, что его признают психопатом. Это — лучший выход для всех: не надо будет с ним больше возиться, и он останется в живых. Признают вначале нормальным и вменяемым. И вот он едет в компании с церковно-политическим преступником на новое следствие. Мы расстались с ним двенадцатого октября в Армавире, — он поехал дальше, в Краснодар. За эти три дня мы переговорили обо всем, и нам казалось, что мы знакомы много лет.

При прощании я перекрестил его трижды и трижды поцеловался с ним. Внутренне я уверен, что он не виновен. Через несколько месяцев я услышал, что и следствие приходит к тому же выводу. О его окончательной судьбе я ничего не знаю.

V. «ЗЕМНЫХ СТРАДАНИЙ РЕШЕТО»

*Ты, что по морю, яко посуху,
Прошел, ступая широко,
Не отпусти меня без посоха
В земных страданий решето...*

Наталья Горбаневская)*

Двенадцатого октября 1969 года я прибыл в Армавир, в местную тюрьму. В Сочи тюрьмы нет, как нет ее и в Адлере, в Хосте и в других курортных городах. Туда лишь возят на следствие. А тюрьма в Армавире — одна на десять городов. Здесь мне предстояло прожить десять месяцев. Здесь я узнал многое. Здесь я многое пережил и перечувствовал.

Но прежде, чем описывать Армавирскую тюрьму, я должен остановиться на главном, на самом главном.

В тюрьме заключенные меня любили. И все они называли меня «наш батька-революционер». Один заключенный, чуть-чуть тронутый цивилизацией, меня называл «Дон-Кихотом». Ошибались ли они? Нет, не ошибались. Я действительно сторонник активной борьбы за правду, сторонник непрерывного, непрестанного обновления жизни, а следовательно, — я революционер. Я — и Дон-Кихот, ибо Дон-Кихот — это прототип всех на свете революционеров и правдолюбцев. У нас часто считают имя «Дон-Кихот» оскорбительным прозвищем, но не так воспринимал это слово, например, Достоевский. В одном месте «Дневника писателя» он говорит: если Бог на Страшном суде спросит человечество, что оно сделало хорошего за все время пребывания на земле, то оно может, заливаясь слезами, протянуть Ему книжку Сервантеса «Дон-Кихот».

Но прежде всего я — христианин. Я чувствовал себя в тюрьме легко и хорошо и вышел оттуда, как это ни

*) Стихотворения 1956-67 годов. Стр. 88. — А. К.

странно, — с окрепшими нервами, хотя и находился все время в очень плохих условиях.

И с моей стороны было бы страшной неблагодарностью, если бы я не сказал, *чему* я обязан своим хорошим самочувствием. Здесь я произнесу только одно слово — молитва. На свете — всё чудо, и только близорукие люди могут не видеть этого: и творчество — чудо, и память людская — чудо, и совесть — чудо. Ибо во всем проявляется иррациональная, непонятная сила. Творческий импульс, как называл ее Бергсон. Мой отец когда-то говорил про своего любимого писателя: «Чудное дело! Пожилой солидный человек, с бородой, садится за письменный стол и пишет какие-то глупости о каком-то студенте, который убил какую-то старуху, — и всё это очень неправдоподобная выдумка, потому что никто никогда так не убивает и никто так следствие не ведет, — а получается что-то настолько сильное, что и через сто лет нельзя оторваться». Нельзя оторваться, потому что это чудо — откровение Божие. Бог здесь, в романах Достоевского, Л. Н. Толстого и других открывает человеку его сущность и сущность жизни. И память людская — чудо, ибо с материалистической точки зрения никак нельзя объяснить, почему мельчайшие частицы всё время изменяющейся материи, всё время отмирающие клеточки могут задерживать прошлое с такой яркостью и силой, что оно переживается более реально, чем тогда, когда было настоящим. Л. Н. Толстой сказал однажды, что величайшее чудо — это то, что небольшое количество съеданной мной ежедневно пищи превращается в мысль.

И самое главное чудо — молитва. Стоит мне мысленно обратиться к Богу, — и я сразу чувствую силу, которая врывается откуда-то в меня, мне в душу, во всё мое существо. Что это такое? Психотерапия? Нет, не психотерапия, ибо откуда возьмется у меня, ничтожного, усталого от жизни пожилого человека эта сила, обновляющая, спасающая, поднимающая меня над зем-

лей. Она приходит извне, — и нет в мире никакой силы, которая могла бы ей противиться.

Я по натуре — не мистик, никакие сверхъестественные явления, особые переживания мне не свойственны и недоступны. Мне доступно лишь то, что доступно решительно всякому человеку, — молитва. Так как я вырос в Православной Церкви и был воспитан ею, то молитва моя изливается в православных формах (хотя я, разумеется, не отвергаю и всяких других форм).

Основой всей моей духовной жизни является православная литургия, поэтому, находясь в тюрьме, я каждый день мысленно присутствовал на литургии. В восемь часов утра я начинал ходить по камере, про себя повторяя слова литургии. В этот момент я чувствовал себя неразделимо связанным со всем христианским миром, поэтому на великой ектении молился всегда и о папе, и о вселенском патриархе, и о нашем (пока он был жив) святейшем патриархе Алексии, — впоследствии о патриаршем местоблюстителе. Дойдя до середины литургии, я читал про себя евхаристический канон, — и после слов пресуществления, стоя перед лицом Господа, ощущая почти физически Его израненное, истекающее кровью тело, я начинал молиться своими словами и поминал всех своих близких, заключенных и находящихся на воле, живых и умерших. И память подсказывала мне всё новые и новые имена, и я поминал всю русскую литературу (от Ломоносова до Паустовского), и весь русский театр (от Мочалова до Станиславского, Мейерхольда, Москвина и Качалова), и всех пострадавших на нашей земле за правду (от Радищева и декабристов до Алексея Костерина¹¹), и всех православных иерархов, и многочисленных священнослужителей, которых я знал с детства, и своих многочисленных учителей и учительниц...

Стены тюремные раздвигались, и моим пребыванием становилась вся вселенная, видимая и невидимая, за которую приносилось в жертву это израненное, избив-

тое тело. И после этого с особой силой для меня звучал в моем сердце «Отче наш» и молитва перед причастием: «Верую, Господи, и исповедую...» И весь день после литургии я чувствовал необыкновенный подъём духа, ясность и духовную чистоту. И не только моя молитва и не столько моя молитва, сколько молитва многих верующих христиан помогала мне. Я ее чувствовал непрерывно, она на расстоянии действовала — поднимала меня как бы на крыльях, давала мне воду живую и хлеб жизни — покой душевный, мир и любовь.

А жизнь между тем шла своим чередом.

Условия были, как я сказал, очень тяжелые: камера (комната в двадцать метров) была заполнена народом: в ней помещалось от восемнадцати до двадцати пяти-двадцати шести человек. Непрерывное курение и клозет, находящийся в камере, отравляли воздух, непрерывное стуканье домино и рев громкоговорителя создавали оглушительный шум, не прекращающийся ни на минуту с шести часов утра до десяти часов вечера.

Питание — очень скудное, но для меня в моем возрасте, в общем, достаточное: шестьсот грамм ржаного хлеба и — утром — две ложечки сахара, утром же — баланда: суп с лапшей; днем — обед: щи отвратительные (я их почти никогда не ел), каша обычно пшённая; и вечером — кипяток без сахара и опять похлебка.

Наиболее тяжким были страшно антигигиенические условия: заключенные лежали на двухъярусных нарах (спаянные металлические койки) почти впритык друг к другу на матрасах, которые никогда не меняются (в банный день их лишь выносят на тюремный двор и посыпают дустом); белья нет — заключенным лишь выдаются матрасовка, одеяло и подушка; меняются во время бани только лишь полотенце и наволочка. Белье брали в стирку до января месяца, а потом почему-то перестали брать, следовательно, белье при-

ходилось мыть самим в камере под краном, холодной водой.

Баня в Армавирской тюрьме — это какой-то кошмар: заключенные несут на себе матрасы с постелями, которые оставляются на дворе. Затем заключенных вводят в предбанник, где их неизменно встречает пожилая крикливая женщина, о которой говорили, что она выросла в тюрьме на этой должности (и, как говорят, ее мать также занимала эту должность). Надо было самому видеть эту женщину, оглушительно кричавшую среди десятков голых мужчин, — дать об этом представление трудно. На баню давался каждому заключенному ломтик черного мыла, нарезанный так тонко, как гастрономы режут сыр, причем душ, под который становились заключенные, работал не больше десяти минут. Вымыться за это время невозможно.

В тюрьме существовал ларёк; заключенный мог раз в две недели получить (при наличии у него денег) продуктов на пять рублей — сахар, масло, мыло; некоторые получали также и передачу. Однако большинство заключенных денег на текущем счету не имели и никаких передач не получали. Обычно в камере «брали ларёк» всего четыре-пять человек, а были случаи, когда «ларёк брал» только один человек — пишущий эти строки. Впрочем, и я, хотя у меня были на текущем счету деньги, в течение четырех месяцев (с октября по февраль) был исключительно на тюремном довольствии, так как деньги всё никак не могли придти из Москвы в Армавир.

Однако все эти условия — сущий рай по сравнению с поездками из Армавира в Сочи, на следствие. После утомительной поездки в «стольпинском» вагоне, условия которых я уже описывал, вас привозят в Сочи, в местную милицию (на главной улице города), так как тюрьмы в Сочи нет. Здесь вас ожидает комната предварительного заключения (КПЗ) — каморка метров на десять, в которой валялись на голом полу семь-восемь

человек, одетые, вповалку. Теснота иной раз была такая, что невозможно было вытянуть ноги. В таких условиях я пробыл по восемнадцать дней: (между пятнадцатым октября и четвертым ноября 1969 г. и второй раз — с десятого января по двадцать девятое января 1970 г. Когда после первого пребывания в Сочи я обратился с заявлением к местному прокурору, то получил ответ от зам. прокурора г. Сочи Гончарова, что условия, в которых я нахожусь, соответствуют закону.

Комментарии, вероятно, излишни. Мы и не будем комментировать. Мне хочется обратить лишь внимание вот на что. Сочи — чудесный городок-здравница, в который со всего мира люди приезжают лечиться, отдыхать, развлекаться. Здесь десятки шикарных гостиниц, ресторанов, кафе. И здесь же рядом в таких невыносимых условиях содержатся люди. Люди! Что могут сказать в свое оправдание те, кто допускает это?

Ничего.

VI. ЛЮДИ

На протяжении одиннадцати месяцев я не видел ни одного по-настоящему интеллигентного человека (если не считать мимолетной встречи в Бутырках с математиком и еще одного человека — опустившегося архитектора; «хозяйственников» из спецкорпуса вряд ли кто-нибудь может причислить к интеллигентам, у них и знания, и интересы, и лексикон — всё совершенно как у блатных). Я не видел ни одного верующего человека. Большинство людей, с которыми мне пришлось сидеть, — это люди преступные, преступные с любой точки зрения.

Но всё это люди, не упавшие с неба и не выросшие как грибы из земли. Все они плоть от плоти, кость от кости русского народа. По ним можно судить о русском народе в наши дни.

Какой вывод напрашивается сам собой даже при

самом беглом знакомстве с русскими людьми в тюрьме?

Прежде всего, вывод следующий: русский человек до смешного не переменялся со времен Достоевского и Л. Толстого. «Записки из Мертвого дома» и страницы из «Воскресения», посвященные тюрьме, вспоминаются каждую минуту. Это всё тот же русский человек — матерщинник, пьяница, драчун, а в груди у него золотое сердце. Это всё тот же русский человек, безграмотный и невежественный (школа не научила его ни сколько-нибудь грамотно писать, ни бегло читать), но в голове у него — светлый ум, быстрая сѐмка, острая наблюдательность, живой интерес ко всему новому, честному, героическому.

Да, широк, широк русский человек, — как говорил Достоевский.

Этот русский человек ничего не читал, ничем никогда не интересовался, — а понимает и стихи Пастернака о Христе, которые недоступны среднему интеллигенту, и быстро схватывает главное в философии Канта и Гегеля, и умеет оценить истинную гражданскую доблесть. Это ли не широта и глубина? Но перейдем к конкретным примерам.

Поедем для этого в Сочи в воскресный день в октябре 1969 г., войдем в одну из камер предварительного заключения; камера состоит из помоста — семь шагов в длину, четыре шага в ширину. На помосте пятеро: высоченный верзила с Дальнего Востока, косая сажень в плечах, судится за «гоп-стоп» — ограбление человека ночью; симпатичный парнишка лет двадцати пяти в солдатском кителе, Славка, сидит за воровство; худой местный житель лет за сорок, невропат, с подергивающимся тиком лицом, — мой тѐзка, как и верзила; в камере, таким образом, из пяти — три Анатолия. Пятый — русский парнишка, родившийся и живший в Литве, изъясняется ломаным языком, весь в татуировке от шеи до пят, несмотря на свой возраст — двадцать один год — сидит уже третий раз. Преступление, за которое

он сидит, обозначается по-европейски, красивым термином «хулиганизм».

Я прикурнул к стенке — сплю. Сквозь дрёму слышу, как невропат с тиком говорит:

— Старик сегодня спит.

Верзила с другой стороны замечает:

— Разбуди батьку, пусть расскажет чего-нибудь: скучно. Отец, расскажи нам.

Я: А чего это я должен вас увеселять? Расскажи ты что-нибудь, а я послушаю.

Верзила: Ну и что вам рассказать? Я уже всё рассказал, что мог. Вот пускай Славка рассказывает.

Славка: А что мне рассказывать?

Я: А за что сидишь.

Славка: Да за чемодан.

Я: А зачем тебе, ребенки (мой обычный термин, — во множественном числе), нужен был чемодан?

Славка: Ну, денег же у меня не было.

Я (под дурачка): А зачем тебе, ребенки, деньги нужны были?..

Недоумение, молчание.

Верзила: Не всякий же может жить одними божественными молитвами, как вы.

Я: Ну, есть люди и без божественных молитв, а чемоданов не воруют.

Парень в татуировке: Ну так что-нибудь другое воруют.

Я: И ничего не воруют. Вот я вам расскажу про одного генерала и его жену-генеральшу.

И я подробно рассказываю историю Петра Григорьевича Григоренко и его жены Зинаиды Михайловны. Слушают как зачарованные. В тот момент, когда я рассказываю, как генеральша ходила потихоньку от мужа мыть полы, — раздаётся крепкая матерщина, у одного — на глазах слезы, все взволнованы. Я продолжаю рассказ. Когда узнают, что генерал и сейчас в

тюрьме, — напряжение нарастает; снова раздается мат. Верзила Толик восклицает:

— Да! Вот это — человек! За такого — в огонь и в воду...

Молчание. Неожиданно парень в татуировке спрашивает:

— А кто такой Пастернак?

Рассказываю. Читаю его стихотворение «Магдалина» из стихов доктора Живаго. И перехожу к разговору о Христе. Тысячи вопросов. Даже караульный за дверью слушает. Так проходит вечер. (В КПЗ нет отбоя, говорить можно сколько угодно.) Постепенно некоторые засыпают. Не спим мы с верзилой. Верзила рассказывает свою жизнь, жизнь отвратительную и ужасную. Но рассказывает с такой бесстрашной откровенностью, на которую не каждый интеллигент способен, не каждый верующий на исповеди. А потом, видимо, желая выразить мне свое уважение, вынимает из кармана пайку белого хлеба и протягивает мне.

— На, ешь, батька. Это я лежал в больнице. Там мне дали белый хлеб.

Я разламываю хлеб пополам, и мы начинаем есть вместе... В темной камере храпят люди, малюсенькая лампочка из коридора, заделанная решеткой, тускло светит, точно лампадка, — не верится, что это XX век. Вспоминается келья в Николо-Угрешском монастыре, в котором был заточен при Грозном митрополит Филипп... Так же точно сидели по темным каморкам вместе с разбойниками исстари на Руси люди, ищущие правду, — и стригольники, и жидовствующие, и староверы всех и всяческих толков, и сектанты всех мастей и направлений, — довелось сидеть и православным искателям истины.

Я чужд всяких национальных пристрастий: русский народ я люблю больше всякого другого народа (хоть я только наполовину русский). Однако я люблю и все другие народы (не говоря уж о евреях, с которы-

ми меня связывает кровное родство); ничто меня не возмущает так, как пренебрежение к какому бы то ни было народу; и незадолго до ареста я поссорился с близкими друзьями из-за того, что они посмели пренебрежительно отозваться о крымских татарах.

Однако факты — прежде всего. Великоросс удивительно отличается от украинца, прибалта, кавказца (это я наблюдал на тысяче примеров) своей щедростью, великодушием, широтой. Украинец, получив передачу, положит сало под подушку и будет его держать там, пока оно не провоняет. Прибалт будет резать сало тоненькими кусочками, точно рассчитав, сколько времени оно может лежать и не испортится; кавказец поделится со своими близкими друзьями. Русский (великоросс) сразу, с ходу, раздаст всю посылку, щедро одарив каждого (в том числе и того, кому вчера морду бил и кто ему морду бил) встречного и поперечного, — и к вечеру посылки как не бывало. Русскому совершенно чужда мелочность, осмотрительность, расчётливость. Русскому точно также чужда злопамятность: я видел, будучи в лагере и в тюрьме, очень много русских парней, бьющих друг другу физиономии, лупящих друг друга кружками (это называется «давать банок»), осыпающих друг друга самой отборной бранью, но я не видел двух русских парней, которые бы дулись друг на друга и не разговаривали друг с другом более одного дня. Разумеется, национальный характер — это закон больших чисел, в любом случае могут быть исключения в ту и в другую сторону, но общее явление именно таково.

Часто говорят о русской грубости, о русском хамстве.

Русская грубость — да! Но не хамство. Русский человек очень редко бывает хамом. Измываться над слабым, издеваться над униженным, проявлять неблагодарность — это русскому не свойственно. Я никогда

не льстил блатным, — я всегда говорил им то, что я о них думаю. Я говорил им:

— Ребятенки, я к вам ко всем очень хорошо отношусь и очень всех вас люблю, — и я не выпустил бы из тюрьмы ни одного из вас, потому что выпустить вас из тюрьмы — вы снова пойдете воровать, выпустить вас — это людей не жалеть.

Ничего, слушали и ухмылялись.

Самая матерная ругань, для многих непереносимая (я к ней привык с детства, и на меня она не производит никакого впечатления), не носит в устах простого человека оскорбительного характера: она слетает у него с уст машинально, бессознательно, «для связки слов». Она стала настолько привычной, что когда хотят кого-нибудь оскорбить, то произносят совершенно другие слова; так, всякий блатной вам охотно простит, если вы обругаете его матом (это на него просто не произведет никакого впечатления), но придет в ярость, если вы назовете его «козлом». «Козел» — это почему-то самое оскорбительное с недавнего времени словечко. Причем и здесь русский человек соблюдает меру: он никогда не станет ругать того, кто сам не ругается матом (я, например, за всё время ни разу не услышал мат по своему адресу). Мало того, зная, что я верующий, в камерах, где я сидел, никогда не ругались в «Бога». А если кто выругается, немедленно того туркали.

— Если кто ругнется в Бога, тому морду набью, — заявил категорически Коваленко, самый отчаянный и самый хороший парень из шестьдесят восьмой камеры, в которой я сидел больше всего — в течение полугода.

И по-прежнему живет в народе русская удаль, и рука об руку с ней шагает русская бесшабашность.

В этом отношении поразительна живучесть в наши дни такого явления, как бродяжничество.

Для меня было неожиданностью наличие такого огромного количества бродяг (в тюрьме их называют «скирдятники» — от слова «скирда»). Должен сказать,

что во время своего пребывания в лагере (1949-1956 гг.) я их почти не видел. Что из себя представляют скирдытники? Хотите познакомиться с одним из них? Рекомендую: Железнов Валентин, тридцати лет, местожительство — отсутствует, место работы — никогда нигде не работал, был в детдоме, но окончил только пять классов; был женат, имел двух детей. Потом вдруг бросил их и пошел бродяжить. Бродяжит уже десять лет. Главным образом в Грузии. Вам нужно отремонтировать дом, покрыть его новой крышей? Вам нужен сторож на дачу? Пожалуйста, пойдите в Тбилиси на Баржу (место, где собираются бродяги, — там его увидите и легко с ним договоритесь). Парень он вспыльчивый, но добрый. Один раз обругал «последними словами» тюремную надзирательницу за то, что она назвала его скирдытником, и за это угодил в карцер, но зато с каждым неимущим поделится куском хлеба. Выпрашивать любит до крайности и выпрашивает в следующих выражениях: «Ванька, не в хипеж (т. е. без спора), всыпь в чай сахарку». Но если вы у него тут же попросите этого самого сахарку, даст без всякого разговора. Безграмотен и невежественен до крайности, но однажды, разъясняя своими словами, почему он не работает, неожиданно сформулировал теорию прибавочной стоимости Карла Маркса. Он изложил ее так:

— Вин меня обкрадывает (он из великороссов, но воспитывался в детдоме под Киевом, поэтому всё время мешает русский и украинский языки), потому я думаю, откуда у него деньги, чтоб купить «Волгу»? Значит, он мне недодает; коли платили мне бы, как я зрбил, так не мог бы он получать таку зарплату, чтоб «Волгу» покупати, — стало быть, вин мне полдня оплатит, а остальное в карман себе берет.

А вот и другой скирдытник, — это уже не просто скирдытник, а трутень, паразит, никогда нигде не работавший, всю жизнь промышляющий воровством и попрошайничеством.

Когда я его видел, он только что освободился из лагеря для того, чтобы, пробыв на воле неделю, снова попасть в тюрьму за мелкую кражу. Он много и охотно, лежа со мной рядом на милицейских нарах, рассказывал о своих приключениях. Все его рассказы поразительно по своему бесстыдству: он рассказывает о подлейших поступках с совершенно невинным видом, как бы и не догадываясь, что речь идет о чем-то предосудительном. Это, к примеру, выглядело так: однажды он познакомился с женщиной, которая «бомбит поезда», — это означает, что она обходит поезда с ребенком на руках, выпрашивая милостыню. Познакомившись с этой женщиной, наш проходимец совершил с ней турне по югу: она «бомбила» поезда, а он обворовывал пассажиров. Приехали в маленький южный городок, заночевали где-то в «скирде» на свежем воздухе втроем, — он, она и ребенок. Рано утром мадам проснулась и сказала: «Ну вы (он и ребенок) пока отдыхайте, а я пойду куплю что-нибудь поесть». Ушла. Когда вернулась, разбудила. Оказалось, исчез ребенок. Искали, искали — нет ребенка.

— Ну и что же вы сделали? — взволнованно спрашиваю я.

— А ничего. Хотели в милицию заявить, потом решили — не стоит, и поехали дальше.

Таким же веселым и простодушным тоном он рассказывал о том, как он обокрал влюбившуюся в него даму из Ленинграда, как он пошел в костел в Вильно выпрашивать у ксендза деньги. Там он видел «какого-то мужика, распятого на кресте», слышал орган, но всё это его мало интересовало; его интересовали деньги. Ксендз дал ему сто рублей, разжалобившись его рассказом о том, что он только что вышел из лагеря, и дал ему указания, уходя из костела, дать ему перед Распятием обещание, что он больше не будет пить. Он дал обещание... а потом тут же пошел и пропил деньги — всё до одной копейки. Точно так же он поступил и в

Сочи в церкви, выпросив деньги у местного священника.

Через несколько дней я рассказывал о Христе и, обернувшись к бродяжке, сказал:

— Ты знаешь, почему тебе верующие давали деньги? Потому что Христос сказал: если вы откажете кому-нибудь из находящихся в несчастье, вы это Мне отказали. Поэтому очень страшно не дать.

И бродяжка сказал:

— Неужели так Он, значит, об этом знал? — и на глазах у него мелькнули слезы.

И наряду с бродяжкой — хороший парнишка Коля Черный, солдатик. Озорник. Подрался с группой однополчан. А были они чеченцы — и не простили, подняли бучу. Оказывается, он мало того что дрался, — выхватил у одного чеченца из кармана вакцину: «Вот теперь и мы сапоги почистим». Бедняга! Получил четыре года за разбой.

В тюрьме я видел многих людей трагической судьбы, — хороших и неглупых, но пропавших, безнадежно пропавших.

Вот перед нами Геннадий — двадцатилетний парень, получивший год за бродяжничество. Его жизнь началась драматически: когда ему было два года, пьяный отец убил его мать и бабушку и сам был расстрелян за это. Геннадий воспитывался в детдоме в Казахстане. Детдом был хороший, и относились к нему там хорошо; вспоминает он о директоре детдома, об учителях очень тепло. Однако, окончив семь классов, он ушел из детдома и пошел бродяжничать. Где только не побывал. У него есть тяга к религии, и он даже принял крещение, любит справедливость и ненавидит национальные пристрастия, — однажды чуть не подрался с парнем, который ругал казахов, называя их «узкоплёчными» (он сам чистокровный русак); в то же время считает, что «куркулей» надо грабить. Ко мне питал самые теплые чувства и даже сшил мне чулки

из тряпок. Разговариваю с ним о его будущем, советую ехать в Казахстан и там устраиваться. Соглашается, но по глазам вижу: освободится, пойдет немедленно вновь бродяжничать и вновь попадет в тюрьму... и так до конца своих дней.

Точно так же поступил и Юрка — «алкаган», моряк торгового флота, любящий и понимающий музыку (он мне, а не я ему, читал лекции о Чайковском, Глинке, Шуберте и Шопене). Интересуется всем на свете. С нежностью вспоминает о сыне, который где-то там у него есть. Есть и семья. Он ее любил, а потом вдруг бросил и пошел бродяжить.

А вот среди бродяг — вдруг совершенно неожиданная фигура, бывший главный архитектор города Сочи Воскресенский. Сын петербургского присяжного поверенного, интеллигент старой формации. Воскресенский много читал, хорошо знает старый Питер. В Сочи его почти все знают: он выстроил главный кинотеатр, ряд зданий. Но поругался с начальством, начал пить, его выгнали с работы, выселили из казенной квартиры, лишили прописки. Полгода ходил по городу, не имея постоянного местожительства (он — старый холостяк), опустился, оборвался и — получил год за бродяжничество. Отбыв год, вернулся в Сочи, — и всё повторилось вновь: скитания по городу, случайные ночлеги, случайные заработки... Окончилось грандиозным скандалом: в одиннадцать часов вечера оборванный старик хотел проникнуть в ресторан «Каскад» — самое фешенебельное увеселительное заведение Сочи. Его не пустили, он поднял отчаянный крик, был доставлен в милицию. Через два месяца был осужден на три года лагерей за бродяжничество и хулиганство.

Вспоминаю этих людей и отчетливо сознаю, что им уже не подняться, не выбраться из трясины. И если бы они знали Блока (Воскресенский, впрочем, наверное, знает), то они сказали бы о себе его словами:

И в какой иной обители
Мне влачиться суждено,
Если сердце хочет гибели,
Тайно просится на дно?

(«Обреченный»)

Мы процитировали Блока, но что Блок... Есть поэт, которого все они знают наизусть, которого они без конца перечитывают, которого они обожают, — это Есенин. Есенин — это, конечно, самый народный поэт, другого такого не было и нет; он более популярен и более любим, чем Пушкин и Лермонтов, — о других уж нечего и говорить. Стихи Есенина «В том краю, где желтая крапива...» поются во всех тюрьмах, во всех камерах; и действительно, нет стихотворения, которое в большей степени выражало бы душу этих людей. На всякий случай, если кто из читателей забыл это стихотворение, напомним его, пусть воображение читателя само нарисует темную камеру и представит себе заунывную мелодию этого стиха, превратившегося в народную песню:

*
*
*

В том краю, где желтая крапива
И сухой плетень,
Приютились к вербам сиротливо
Избы деревень.

Там в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.

Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.

Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.

Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты,
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.

Я одну мечту, скрывая, нежу —
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.

И когда с улыбкой мимоходом
Распрямлю я грудь,
Языком залижет непогода
Прожитой мой путь.

Каковы религиозные взгляды моих товарищей по несчастью? Решительно никаких. Говоря с ними, я испытывал странное чувство: точно князя Владимира на Руси еще не было. Это — не отрицание христианства, это — полное неведение о нем. Они знают (из соответствующего кинофильма), что Спартак был распят, но не знают, что распят был Христос. Они знают, что йоги творят чудеса, но не знают, что чудеса творил Христос. Когда им рассказываешь о Христе, слушают, затаив дыхание. Все почему-то слышали про Библию и считают, что в ней предсказана война и то, что бу-

дут летать железные птицы (сведения эти идут от бабушек).

Однако христианство живет где-то глубоко запрятанное, притаившееся в народной душе. Это легко проследить, между прочим, в той легенде о Ленине, которая создавалась в народе.

Имя Ленина — это единственное имя, которое пользуется уважением в народе (е д и н с т в е н н о е — других имен нет). Однако образ Ленина претерпел своеобразную христианскую трансформацию. Образ Ленина, живущий в народном сознании, совершенно лишен той жгучей нетерпимости, революционной страстности, которая всегда отличала исторического Ленина и которая иногда придавала такой яркий колорит его статьям. Ленин в народном сознании — это всепрощающий добрый старик («дедушка Володя», — как его часто называют в народе). В течение тридцати с лишним лет ходила легенда о том, что Каплан якобы не была расстреляна по просьбе Ленина. Эту легенду повторяли буквально все — от профессоров и директоров школ до блатных парней. Легенде этой сокрушительный удар, как известно, нанесла книга Малакова «Записки коменданта Московского Кремля», вышедшая в 1959 году.

Однако народное сознание и здесь нашло выход: я слышал от многих тюремных парней, что Каплан была якобы расстреляна *вопреки приказу Ленина*.

В народе всё еще живет, к сожалению, идеализация Сталина. Объясняется она тем, что простой народ очень мало знает истину о зверствах Сталина. После пяти-десятиминутного рассказа о зверствах Сталина мгновенно исчезает всякая его идеализация. Во всяком случае, я не видел ни одного человека, который после моего рассказа о ежовских и бериевских временах решился бы его защищать.

К сожалению, очень не любят Хрущева и не хотят знать его исторических несомненных заслуг; имя Хру-

щева ассоциируется у простого человека главным образом с продовольственными трудностями.

О всех других деятелях вообще ничего не говорят.

Выше я говорил о среднем типе русского человека, как он мне представляется под свежим впечатлением тюрьмы. Есть, однако, в тюрьме и другие люди, люди испорченные до мозга костей, и о них тоже нельзя умолчать, ибо их появление представляет страшный симптом — симптом глубокой болезни, разъедающей общество.

А теперь мы приглашаем вновь читателя войти вместе с нами в камеру шестьдесят восьмую Армавирской тюрьмы, — в камеру, в которой я провел последние полгода моего заключения (с 28 января по 10 августа 1970).

Летний день. В камере жарко и душно. Ребята возбуждены. Из сумасшедшего дома (из Краснодара) приехал парень, которого туда возили на исследование: Колька из Ленинграда. Странный парень! С виду интеллигентный, говорит грудным голосом с модулирующими интонациями, среднего роста, шатен, любит стихи, двадцати трех лет; говорит, что сын инженера; слушает радио, что-то краешком уха слышал о «политических процессах» и любит сообщать всякие выдумки о «высокой политике». (Меня он раз заставил обомлеть, сообщив, что Солженицын и Якир арестованы, ему это будто бы говорил какой-то арестованный дьякон из Сочи, Николай Карпенко. При проверке оказалось, что никакого дьякона Карпенко в природе не существовало.) Сидит уже второй раз: в первый раз ограбил аптеку, во второй — ограбил в Сочи товарища. Наркоман с четырнадцати лет. Кроме того, у него странное извращение: он «вампирист», пьет кровь — свою и чужую; на вопрос, какие он чувства испытывает при этом, отвечает: «Пьянею, это кайф...»

Его товарищ — Иван из Ростова — среднего рос-

та, плечистый парень, может быть очень тихим, вежливым, культурным; и вдруг... преобразается в блатного со всеми аксессуарами и лексиконом лагерника. Тоже «вампирист» (впрочем, кажется, только на словах), — со смаком рассказывает, что якобы в крематориях видно, как растопленный человеческий жир стекает из желобка, и якобы он этот жир пил. На мой вопрос, где это было, отвечает: «В Ростове». Долго спорит со мной, когда я сообщаю, что единственный крематорий в СССР находится в Москве, и сожжение трупов производится так, что никакого жира при этом не стекает.

Третий товарищ — Серега из Сочи — рослый, атлетического вида парень, тихоня, молчаливый, замешан в ограблении магазина. Почему-то одержим страстью к французским словам; всё время у меня спрашивает, как по-французски «я вас люблю», «вы прелестная девушка» и т. д.

Все они трое представляют «вампирный» трест. Ничего они не делают, — только треплются. Но трепотня, всё время вертящаяся вокруг человеческой крови, тоже достаточно противна.

Ленинградский Колька приехал — сразу всё приходит в движение, сидеть спокойно он не может: то делает кресты из ложек (их для этого плавят на огне), то делает наколки; на этот раз, пошептавшись с кем-то, начинает ломать потолок. Разломав потолок, когда остается пробить крышу, вдруг внезапно оставляет мысль о побеге. Потолок остается развороченным, никаких же попыток к побегу не предпринимается. Всех охватывает страх: что теперь будет? Один Николка беззаботен: «Не заметят», — хоть не заметить развороченный потолок никак нельзя.

Действительно, на другой же день замечают. Начинается «хипеж». Всех по очереди вызывают к начальству. Никто ничего не говорит. Тогда забирают в изо-

лятор Алексея Коваленко, который не имеет к этому происшествию ни малейшего отношения.

Ленька — колоритная фигура. Местный армавирский парень, озорник и забияка. Сидит за угон автомобиля. В тюрьме остался таким же озорником, каким был на воле. Вечно матерщинит, вечно препирается с администрацией. Особенно любит переговариваться через открытые окна с другими камерами. Кричит обычно ничего не значущие фразы, вроде: «Здорово, Ванька!», «Здорово, Колька!» и т. д., а чаще всего кричит бессмысленный, но лихо звучащий клич: «Гай гуй!» Как-то раз подошел ко мне и потихоньку попросил:

— Напишите мне «Отче наш».

— А зачем тебе?

— Выучу и буду читать.

— А ты верующий?

— Верующий.

Вскоре его посадили в изолятор на пятнадцать суток, вышел оттуда бледный, осунувшийся, но такой же бравый, лихой, задиристый, наводящий страх на сокамерников и на администрацию. Я потихоньку спросил:

— «Отче наш» читал?

— Читал, — ответил он шепотом. Этого-то Леньку забрали снова в изолятор, а Николка молчит и принимает всё как должное. Но тут уж мы все встали стеной за Леньку и так дружно, что Леньку выпустили. Не знаю, чем окончилась эта история, ибо как раз в этот день меня неожиданно вызвали на этап. Когда я быстро собирал свои вещи и никак не мог найти казенное полотенце, Ленька мне отдал свое.

— А ты как же?

— Ну, мы с Толиком (его товарищ) одним утираться будем.

И вот нас вывели во двор.

— Гай гуй! — услышал я крик на весь двор. На меня нашел озорной стих.

— Гай гуй! — закричал я.

— Сдурел, дед? — сказали ребята.

— Вам-то как не стыдно? — только развел руками надзиратель. Как бы то ни было, это было мое последнее впечатление от Армавирской тюрьмы.

VII. ПАТЕТИЧЕСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Это было осенью 1965 года. Я только что отпраздновал свое пятидесятилетие и написал статью «Вольная Церковь». В ноябре в метро «Охотный ряд» я увидел двух солидных людей в приличных шубах и высоких меховых шапках (я их сразу не узнал), которые издали мне кивали. Подошел. Это оказались отец Николай Эшлиман и Феликс Карелин.

— Не понравилась нам ваша статья, — сказал Феликс.

— Чем это?

Безукоризненно воспитанный о. Эшлиман сказал:

— Мы об этом поговорим как-нибудь потом, Анатолий Эммануилович...

А более непосредственный Феликс шепнул мне на ухо:

— Не понравилась — эсерством.

Что было правильным в этом полушутливом обвинении? Я вряд ли был бы когда-нибудь эсером, хотя бы потому, что никогда не мог бы одобрить террор в какой бы то ни было форме, — однако доля истины в этой шутке имеется. Доля истины состоит в том, что я всегда тяготел к революционному народничеству шестидесятых-семидесятых годов. Еще в детстве меня поразили фигуры самоотверженных людей, стоявших за народ. И долгое время моим любимым поэтом был Некрасов — именно потому, что у него народничество сочетается с христианством. Критики всех мастей и направлений не заметили в Некрасове этой специфической черты — христианского народничества. Возможно, не

заметил этого и он сам, ибо это сочетание христианства и народничества возникает у Некрасова интуитивно, — не как доктрина, а как настроение, как эмоциональная окраска всей его поэзии. Может быть, в этом разгадка того парадоксального факта, что Некрасова (единственного из народников) любил до конца своей жизни Достоевский.

Недавно мне пришлось прочесть в новом выпуске философской энциклопедии статью «В. С. Соловьев» — беспрецедентную, великолепно написанную, впервые за сорок лет отражающую объективно образ великого философа земли Русской. Меня очень обрадовало, между прочим, то обстоятельство, что авторы статьи (их несколько) констатируют близость Соловьева к его славному современнику, последнему великому народнику Н. К. Михайловскому.

Это так. И в этом имеется глубокий провиденциальный смысл, ибо последним словом Руси будет (я в этом глубоко убежден) — *христианское народничество*.

Народ обновленный, вольный, единый, спаянный любовью в одну великую общину, — таков идеал, живущий в самых сокровенных глубинах, в русских сердцах.

Народ обновленный, — ибо, несмотря на пьянство, на разврат, на грязь, на матерщину, всегда живет в нем стремление к нравственному обновлению, к очищению, к покаянию...

Народ вольный, — ибо любит волю русский человек, волю широкую и бескрайнюю, как русские широкие и бескрайние поля. Не любит народ чиновника, не любит начальника, не любит милиционера, — поэтому, как говорил когда-то Горький, Русь будет самой яркой демократией на Земле.

Народ единый — единый в многообразии, — ибо народ русский терпим ко всем взглядам и воззрениям; он многогранен, широк, умен и сердечен. Он может всё понять и всё соединить. И недаром чисто русский че-

ловец патриарх Тихон сказал однажды: «Православие тем и хорошо, что может всё вместить в своем широком русле»; а другой русский человек — Ф. М. Достоевский говорил, что русский человек — это всечеловек по преимуществу.

И кто как не русский человек мог произнести такие строки:

Мы любим всё — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...

Мы помним всё — парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных роц далекий аромат,
И Кёльна дымные громады...

Единство — во множестве, в многообразии, в любви... А любовь — в Евангелии, у Христа, у обновленной грядущей Церкви. Во Христе Иисусе Единородном Сыне Божиим и первородном Сыне Человеческом — истинное преображение, истинная свобода, истинная жизнь Русского народа.

Это — в будущем, и к будущему этому долгий путь, путь упорной тяжкой борьбы за Правду.

А что делать сейчас? Идти в народ, просвещать народ, любить народ, отдавать жизнь свою за народ, за его счастье, за его грядущее обновление. Разумеется, было бы совершенно глупой идеей реставрировать народническую идеологию целиком и полностью. Дело историков и социологов — отделить омертвелое от живого.

А мы здесь укажем на следующие черты народнической идеологии, которые представляются нам актуальными:

1. Идея долга интеллигенции перед народом и вера в особую миссию интеллигенции.

2. Нравственная оценка исторических явлений (Лавров и Михайловский).

3. Изучение специфических особенностей русского социализма и т. д.

И еще осталось сказать немного и не очень приятное: рассказать о своем деле.

VIII. МОЕ ДЕЛО

Собственно, рассказывать о нем еще рано, ибо оно пока не окончено. Мы остановились на том, что меня перевезли на Кавказ, соединив, вопреки всякой логике, мое дело с делом Севастьянова.

В октябре меня вызвали на этап в Сочи. Там меня ждала милейшая Людмила Сергеевна Акимова. С очаровательной улыбкой она со мной поздоровалась и сообщила мне, что прокуратура постановила назначить литературную экспертизу по моим произведениям для определения их преступности.

«Ввиду того, что работы Левитина Анатолия Эммануиловича, — гласило определение прокуратуры, — охватывают широкий круг вопросов религиозных, философских, политических, прокуратура постановила назначить литературную экспертизу для оценки работ Левитина в пределах специальных знаний».

Тут же мне объявили состав комиссии экспертов: Никонов — зав. кафедрой научного атеизма в Московском университете;

доцент-биолог Горюнов и

Курочкин.

Я тут же написал следующее заявление на имя прокурора РСФСР:

«1. Я, Анатолий Левитин, категорически протестую против моего перевода на Кавказ, т. к. я никогда в Сочи не бывал, ни-

кого здесь не знаю, а вся моя деятельность проходила в Москве. Единственной причиной моего перевода на Кавказ является желание затруднить мою защиту и скрыть происходящее беззаконие от глаз общественности.

2. Всем членам экспертизы предьявляю отвод, т. к. все они являются профессиональными антирелигиозниками, группирующимися вокруг журнала «Наука и религия», который травит меня в течение десяти лет и является главным виновником моего ареста. Курочкин, кроме того, недавно опубликовал статью, в которой моя деятельность рассматривается в нарочито искаженном виде.

3. Со своей стороны предлагаю экспертную комиссию в следующем составе: акад. Лосев, член союза писателей А. И. Солженицын и Б. Григорян.

А. Левитин (Краснов)»

Вскоре, находясь уже в Армавирской тюрьме, я получил следующий ответ от прокуратуры:

«Прокуратура РСФСР частично удовлетворила ходатайство гр. Левитина А. Э., постановив вывести из комиссии экспертов Курочкина и ввести в комиссию Григоряна. В отношении академика Лосева и А. И. Солженицына Прокуратура отклонила ходатайство Левитина А. Э.».

Проходит после этого два месяца. И вот передо мной лежит заключение экспертов. Это поистине классический документ. Остановимся на нем подробнее.

Первый вопрос, который был задан экспертам, следующий:

«Какова религиозная принадлежность автора?»

Ответ:

«Автор принадлежит к экстремистской группе, имеющейся в Русской Православной Церкви. Эта группа ставит перед собой целью неограниченную религиозную пропаганду, отмену всех законов, регулирующих отправление религиозного культа, религиозное обучение (в том числе открытие воскресных школ) и восприятие антирелигиозного воспитания».

Прочтя это, я на миг остолбенел от удивления. Скажу при этом, что изумить меня трудно. Я помню и ста-

линские, и ежовские, и бериевские времена; хорошо знаком с абсолютной бессовестностью и лживостью антирелигиозной пропаганды хрущевских времен, но такой наглой лжи я все-таки не ожидал.

Прежде всего, никакой экстремистской группы в Православной Церкви нет. Есть просто Православная Церковь и только. Вся она требует одного: точного соблюдения действующей конституции, в которой говорится об отделении Церкви от государства, о свободе совести и о свободе отправления религиозного культа. Но эта конституция нарушается, ибо как соединить со свободой отправления религиозного культа — закрытие десяти тысяч храмов в период 1958-64 годов? Факт до сих пор не исправленный. Или закрытие в этот же период ряда обителей, духовных семинарий и т. д.? Как соединить с этой статьей в конституции факты варварского насилия и произвола в отношении почаевских монахов? Всем этим и была возмущена в с я (вся без исключения, слышите, Никонов, Григорян и другие, как вас там еще!) Русская Православная Церковь. Я в своих статьях явился лишь выразителем мнения всей Русской Церкви и огласил все эти факты к всеобщему сведению.

Далее. Как совместить с отделением Церкви от государства (которое предполагает, конечно, полное невмешательство государства в церковные дела, так же, как невмешательство Церкви в государственные дела) обязательную регистрацию всех священнослужителей, невозможность без санкции государственного чиновника назначить ни одного священнослужителя от патриарха до псаломщика? Как совместить с принципом отделения Церкви от государства обязательную регистрацию крещений, с обязательной проверкой паспортов у родителей и восприемников, с подачей списков крещаемых в райисполкомы и т. д.?

Тут не только вся Церковь, но и всякий здравомыслящий человек выступит против таких порядков.

Выражая мнение всех здравомыслящих и честных людей, используя свое конституционное право на свободу слова, я выступал в своих статьях за отмену этих порядков, противоречащих конституции. При этом я не призывал никого самочинно их нарушать (такие анархические действия ничего бы не дали), а призывал Русскую Православную Церковь *легальным путем*, через соответствующие органы добиваться отмены антиконституционных постановлений. И хотя нам не удалось пока еще добиться их полной отмены, но уже удалось достигнуть некоторых результатов: произвол уполномоченных сильно смягчился; гласность — великая вещь.

Далее. Как совместить со свободой совести увольнение многих верующих людей с работы по религиозным мотивам? Так, например, пишущий эти строки вот уже одиннадцать лет не может работать по своей специальности. Против этого я протестовал много раз в своих статьях, выражая точку зрения всех без исключения честных людей.

Затем экспертам был задан следующий вопрос:

«Выходит ли Левитин в своих статьях за круг чисто религиозных вопросов?»

На этот вопрос эксперты *ответили утвердительно*, приведя ряд цитат из моих статей, в которых я утверждаю, что религиозный человек может заниматься политикой.

Да, господа хорошие, тут вы правы: политика не является прерогативой каких-то особых лиц, — решительно всякий гражданин имеет право высказывать свое мнение по любым политическим вопросам. Мало того, он не только имеет такое право, но и обязан это делать, обязан, разумеется, нравственно. Что ж это за гражданин, если ему безразлично, что делается вокруг него! И я полностью использовал и использую это право.

И, наконец, третий вопрос:

«Имеются ли в произведениях Левитина клеветнические высказывания, порочащие советский общественно-политический строй?»

Я сейчас оставлю в стороне юридический ляпсус, допущенный следствием, на что впоследствии указал суд, потому что здесь, по существу, перед экспертизой поставили вопрос, на который должны были бы ответить суд и прокуратура.

Посмотрим, как ответили на этот вопрос наши эксперты, превратившиеся одновременно в судей и прокуроров. Это небезынтересно для характеристики умственного и нравственного уровня корифеев нашей антирелигиозной пропаганды. Прежде всего — умственный уровень. Прямо не верится, что это писали люди, имеющие ученые степени. Документ написан безграмотно, с дикими утверждениями, — любой управдом написал бы лучше.

Ответ начинается с фразы, достойной того, чтобы быть напечатанной в «Крокодиле». Так, эксперты предлагают не рассматривать моей «Истории обновленчества», так как

«Церковь отделена от государства, и их не интересует борьба группировок, борющихся в Церкви: сторонники патриарха Тихона и обновленцы; сторонники патриарха Алексия и сторонники Левитина, — для нас одинаковы».

Ах вы халтурщики, халтурщики!

Ах вы невежды, невежды!

Беретесь писать и сами не знаете, о чем пишете. Патриарх Тихон, патриарх Алексий и Левитин... Ну разве с чем-нибудь сообразны такие сопоставления? Вы хоть народ не смешите, умники-разумники. Остальное в таком же роде: так, они считают клеветой мое утверждение о том, что в Швеции достигнут высокий уровень жизни. Вы хоть в какой-нибудь статистический справочник когда-нибудь заглядывали? Они считают клеветой мое утверждение о том, что во многих

западноевропейских странах (в том числе в Швеции) рабочие не голосуют за коммунистов. Ды вы хоть газеты-то читаете, граждане? Видимо, нет. Иначе бы вы знали, что на последних выборах в Швеции коммунисты получили несколько сот тысяч голосов, в Англии — несколько тысяч, тогда как рабочий класс в этих странах насчитывает в своих рядах миллионы людей.

Далее моих горе-экспертов смущает то, что я говорил о том, что христианин одинаково не может одобрить ни «кровавого воскресения», ни убийства пяти невинных детей в Екатеринбурге». Ну найдите мне, ученые знатоки христианства, хоть какой-нибудь текст в Евангелии, согласно которому можно убивать детей (каких бы то ни было — царских, дворницких, кузнецких, пролетарских). Это — интеллектуальный уровень моих экспертов. А теперь — их уровень моральный.

Весь акт экспертизы построен исключительно на грубых искажениях текста. Так, в статье «Католичество и фашизм», входящей в сборник «Огненная чаша», говорится о том, что папа Пий XI и его преемник папа Пий XII боролись против фашизма и против коммунизма. Факт бесспорный, подтвержденный многочисленными документами и историческими свидетельствами. На этом основании эксперты делают вывод, что я ставлю на одну доску эти два явления.

Это всё равно, что обвинить какого-нибудь литературоведа, работающего над исследованием творчества Л. Н. Толстого, в том, что он ставит на одну доску Шекспира и Столыпина. (Ведь должен же он будет указать, что Л. Н. Толстой относился отрицательно как к тому, так и к другому).

Далее мне ставится в вину, что я в своей статье «Вырождение антирелигиозной мысли», входящей в сборник «В борьбе за свет и правду», высказывал пожелание, чтоб были восстановлены ленинские формулировки конституции, согласно которой все граждане имеют право на «свободу религиозного исповедания», вме-

сто сталинской формулировки права на «свободу от преследований религиозных культов». Пожелание тем более уместное, что в то время (в 1961 году) работала комиссия по пересмотру конституции, не ликвидированная официально и по сей день. Любопытно, что один из членов комиссии экспертов Григорян сам выдвинул подобное же требование в 1965 году (об этом он говорил мне сам), но как у всех прелестных, но падших созданий, у Григоряна короткая «девичья» память.

Самая коренная ошибка «ученых» может состоять в том, что они, видимо, не понимают, что такое клевета. Клевета, господа халтурщики и невежды, означает заведомо ложное утверждение. Если я, к примеру, утверждаю, что Иванов бросил жену, тогда как я только вчера пил у него чай и видел, что жена его находится на своем месте, — это клевета. Так, например, если журнал «Наука и религия» утверждает, что я принадлежу к старинному дворянскому роду Левитиных, заведомо зная, что Левитины (евреи) не могут быть дворянами, — то это клевета.

В моих статьях имеется целый монблан фактов. Если экспертиза действительно хотела уличить меня в клевете, то не было бы ничего более простого. Надо было лишь доказать, что все факты, сообщаемые в моих статьях, не соответствуют действительности. Но экспертиза не только не сделала этого, она даже не попыталась опровергнуть хотя бы один факт, содержащийся в моих работах. Почему? Да очень просто: потому что все факты полностью соответствуют действительности, опровергнуть их невозможно, и никакой клеветы в моих произведениях нет.

Вторая ошибка моих экспертов состоит в непонимании того, что согласно Декларации прав человека ни одному человеку не могут быть инкриминированы его убеждения; всякий человек обладает правом иметь свои убеждения и их защищать. Такова непререкаемая норма международного права. Эксперты так увлеклись не-

законно присвоенными ими судейскими функциями и так вошли в роль, что в конце своего акта вынесли мне приговор:

«Левитин должен наряду с вреднейшими сектантами находиться в заключении».

Таково категорическое заключение экспертов комиссии. Итак, тюрьма, заключение, лагерь — вот последнее слово современной антирелигиозной пропаганды в ее полемике с идейными противниками. Еще бы. При такой бездарности и никчемности — что еще остается делать? Нечего говорить, что Л. С. Акимова, благоговей перед учеными мужами, механически переписала весь этот полуграмотный бред в обвинительное заключение, на основании которого я должен был быть приговорен, по ее мнению, к трем годам заключения в лагере.

Чем, однако, объяснить такую беззастенчивость Никонова, Горюнова и Григоряна? Ведь до этого они все корчили из себя идейных людей, говорили, что они против каких-либо репрессий. Объясняется эта метаморфоза тем, что долгое время они вынуждены были скрывать свою сущность. Ведь нет уже Сталина, нет Берия, сотрудники которого и до сих пор имеются в редакции «Наука и религия», — приходится маскироваться, говорить умильным ласковым тоном. Но вот арестован Левитин, их позвали принять участие в расправе над ним, — и, как боевой конь, услышавший звук трубы, антирелигиозники бросились на добычу. Наступил и на их улице праздник, — трубит рог на охоту, слетаются со всех сторон гончие, раздуваются жадно ноздри, почуявшие запах крови. Ату его! Травите беззащитного! Лягайте упавшего, торжествуйте! Только не рано ли торжествовать?

Оказалось — рано.

В январе состоялось закрытие дела (это — последняя стадия следствия), — дело после этого передается в суд. Мое дело было действительно передано в Красно-

дарский краевой суд. При закрытии дела Л. С. Акимова (мой следователь) и Шатов (следователь Севастьянова) сообщили мне, что судебное разбирательство состоится в феврале 1970 г. Возвращаюсь из поездки в Сочи в Армавирскую тюрьму. Жду вызова на суд. Проходит февраль, март, апрель, май... Ни слуху, ни духу. Лишь в июне получаю документ, из которого узнаю о происшедшем. Оказывается, Краснодарский краевой суд в своем распорядительном заседании от 4 марта 1970 г. постановил дело направить к доследованию в виду того, что следствие проведено явно незаконно. Это был для следствия гром среди ясного неба; никто из них не предполагал такой возможности.

Прокурор Краснодарского края подал следующий протест в Верховный суд РСФСР:

марта 1970 года

**В СУДЕБНУЮ КОЛЛЕГИЮ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РСФСР**

На определение распорядительного заседания судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда по делу ЛЕВИТИНА А. Э., обвиняемого по ст. ст. 190¹, 142 ч. II. УК РСФСР, СЕВАСТЬЯНОВА М. С. по ст. ст. 190¹, 147 ч. II, 196 ч. I УК РСФСР.

ЧАСТНЫЙ ПРОТЕСТ

Определением распорядительного заседания судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 4 марта 1970 г. названное дело возвращено к доследованию. В определении указано:

1. Органами следствия нарушена ст. 144 УПК*) РСФСР. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемых ЛЕВИТИНА и СЕВАСТЬЯНОВА не конкретизирована их вина. В постановлении о привлечении ЛЕВИТИНА указано, что он с 1962

*) Уголовно-Процессуальный Кодекс — Ред.

МОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

по 1969 г. написал 15 работ, в которых содержатся заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный строй, без указания, какие именно измышления в них содержатся и в чем они заключаются.

2. В обвинительном заключении формулировка изложена так, что можно понять, что ЛЕВИТИН обвиняется в антисоветской агитации и пропаганде.

3. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого ЛЕВИТИНА указано, что он подстрекал своими статьями и письмами к организационной деятельности с целью нарушения закона об отделении церкви, но не указано, какой именно закон нарушен.

4. Допущена неправильная формулировка вопроса экспертам, имеются ли в произведениях ЛЕВИТИНА ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Это компетенция самого следователя.

5. Следователь Акимова, отклоняя ходатайство адвоката, не конкретизировала мотивы отказа.

6. СЕВАСТЬЯНОВУ вменено в вину, что он мошенническим путем брал у граждан церковные книги, иконы якобы для модельных домов, а фактически продавал их, вырученные деньги расходовал на личные нужды, но у кого он брал книги и иконы, кому продавал, в постановлении не указано.

Определение распорядительного заседания судебной коллегии по уголовным делам крайсуда является неправильным и подлежащим отмене по следующим основаниям.

В постановлениях о предъявлении обвинения ЛЕВИТИНУ от 25/IX-69 г. и от 8/12 января 1970 г. подробно перечислены и поименованы все книги и письма ЛЕВИТИНА, с приведением краткого содержания ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй и подстрекающих граждан к нарушению закона «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».

Приведение текстуальных выдержек из каждой его работы и письма в постановлении о предъявлении обвинения не вызывается необходимостью, т. к. к делу эти книги и письма

приложены в качестве вещественных доказательств и по своему содержанию они являются однородными (л. д. 69, 189-190, 198-199 т. 3).

В постановлении о привлечении Левитина в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении не указано, что он в своих письмах и книгах проводил агитацию или пропаганду в целях подрыва или ослабления советской власти или распространял в этих же целях клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Обвинительное заключение составлено в соответствии с предъявленным обвинением.

Назначение экспертизы по работам и письмам ЛЕВИТИНА не противоречит требованиям ст. ст. 184 и 189 УПК РСФСР. К оценке названных книг и писем были привлечены научные работники, обладающие специальными познаниями в области атеизма и философии. Заключение дано в пределах их знаний (л. д. 142-188 т. 3).

Постановление следователя Акимовой об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката Залесского не обжаловано (т. 3 л. д. 244-245).

В постановлении от 29 сентября 1969 г. о предъявлении обвинения СЕВАСТЬЯНОВУ М. С. подробно изложено, когда, где, у кого именно СЕВАСТЬЯНОВ приобрел церковные книги и иконы, указаны фамилии этих граждан, их местожительство и кому были переданы и за какую цену. Все эти лица допрошены. В деле имеются переводы денежные на имя СЕВАСТЬЯНОВА (т. 2 л. д. 247-282, 5-118; т. 3 л. д. 37-78).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 332 УПК РСФСР, —

ПРОШУ :

Определение распорядительного заседания судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 4 марта 1970 года о возвращении к рассмотрению дело по обв. ЛЕВИТИНА А. Э. и СЕВАСТЬЯНОВА М. С. отменить и дело

МОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

возвратить в тот же суд для рассмотрения со стадии предания суду.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ III КЛАССА

В. КОРСАКОВ

Верховный суд РСФСР в своем заседании от одиннадцатого июня 1970 года отклонил протест прокурора и вернул дело к доследованию.

Об этом я был извещен двадцать шестого июня 1970 г. Еще полтора месяца сидки, — и вот десятого августа меня после полугодового сидения вызывают снова на этап — в Сочи.

Одиннадцатого августа мне вручает Шатов — старший следователь г. Сочи — следующий документ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Прокуратуры Краснодарского края

12 сентября 1969 г. Левитин Анатолий Эммануилович был привлечен к ответственности по ст. 190¹ и по ст. 142 ч. II.

Так как, находясь на свободе, Левитин А. Э. мог оказать влияние на ход следствия, мерой пресечения был избран арест. Ввиду того, что теперь такая необходимость отпала, прокуратура считает возможным освободить Левитина Анатолия Эммануиловича 1915 г. рождения из-под стражи, предоставив ему возможность проживать по адресу: Москва Ж-378, Кузьминская ул., корп. 1, кв. 418, взяв с него обязательство явиться по первому требованию следствия и никуда не выезжать с места жительства до конца следствия.

В тот же день я был освобожден и двадцать второго августа 1970 г. прибыл в Москву.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одиннадцатого августа 1970 г., при моем освобождении, следователь Шатов меня спросил:

— Удовлетворены ли вы таким результатом?

С таким же вопросом обращаюсь сейчас к себе я. На этот вопрос я мог бы ответить: *и да и нет*.

Да, я удовлетворен тем, что законность и справедливость восторжествовали, а две судебные инстанции отвергли порочные выводы следствия.

Да, я удовлетворен тем, что общественное мнение было всё время на моей стороне; это выразилось особенно ярко двадцать первого сентября 1970 года в день моего пятидесятилетия, когда я получил столько знаков любви и уважения, сколько не получал за всю свою жизнь.

Но я и не удовлетворен. Не только потому, что следствие не кончено и каждый день всё может начаться сначала. Есть и другая, более глубокая причина для того, чтобы чувствовать себя неудовлетворенным. Многие прекрасные люди всё еще остаются в узах. Я почувствую себя полностью удовлетворенным только тогда, когда я смогу поздравить и обнять Петра Григорьевича Григоренко, Бориса Владимировича Талантова, Илью Габая, Наташу Горбаневскую¹²⁾, Александра Гинзбурга¹³⁾ и многих других. А самое главное — я буду удовлетворен тогда, когда все поймут, что *с идеями можно бороться только идеями, что слово можно отражать только словом, что мысль можно отражать только мыслью*.

И взойдет тогда над землей Русской Солнце Правды, Свободы и Любви. И преобразится земля наша преобразованием света, разума: и просияет лицо ее, как солнце, и одежды ее сделаются белы, как снег, — и это будет предвестием иного светлого преобразования, которым преобразится весь мир.

Москва

12 сентября — 12 октября 1970 года

ПРИЛОЖЕНИЕ

¹⁾ ЯХИМОВИЧ Иван Антонович (р. в 1931), из семьи рабочего, по крови — поляк, с детства знает три языка: польский, русский, латышский. Филолог. Преподаватель русского языка, работал инспектором школ. С юности отличается широким кругозором и особым интересом к политическим, общественным и философским проблемам, обостренным чувством справедливости и честности.

С 60 г., следуя призыву правительства, идет «поднимать колхозы». Чтобы делить материальные трудности со своими колхозниками, снижает свою ставку до 30 руб. в месяц. В этом же году женится. Сейчас у него трое малолетних детей. В 61 г. вступает в КПСС. Быстро улучшает положение колхоза. В 63 г. записывается на заочное отделение агрономического факультета при С/Х Академии. В том же году выступает с резкой критикой политики партии и правительства в области с/х и предлагает на основе анализа провести ряд реформ. 21. 8. 63 Яхимовича исключают из КПСС, но по решению Президиума ЦК КП Латвии от 8. 1. 64 восстанавливают. В «Комсомольской правде» от 30.10.64 появляется хвалебная заметка о работе председателя колхоза «Яуна гварде» и выдержки из дневника Яхимовича «Хочу быть самым счастливым...».

22. 1. 68 Яхимович обращается с «Открытым письмом в ЦК КПСС, к т. Суслову», в котором осуждает политику партии и правительства в отношении писателей (судебные процессы А. Синявского, Ю. Даниэля, Ю. Галанскова, А. Гинзбурга и др., см. «Посев» 3/68). Ответ на это письмо — вторичное и окончательное исключение из КПСС, с нарушением партийного устава. 1. 4. 68, против воли колхозников, с нарушением колхозного устава, находящегося в отпуску Яхимовича снимают с работы.

Безработный Яхимович переезжает в Юрмалу, к родителям жены, где восемь человек ютятся в одной комнатке на 8 кв. м. Устраивается кочегаром в санаторию «Белорусия». За ним идет слежка. Но Яхимович не прекращает начатой борьбы за справедливость: распространяет «Обращение П. Литвинова и Л. Даниэль к мировой общественности» (в защиту Ю. Галанскова и

др. репрессированных), участвует в составлении документа «К членам КПЧ, ко всему чехословацкому народу» от 28. 7. 68, («Посев» 5/69) и вместе с ген. Григоренко они лично передают этот документ в чехословацкое посольство в Москве. В нем как и в «Письме пяти советских коммунистов» от 29. 7. 68, Яхимовичем и его единомышленниками одобряется новый курс КПЧ и осуждается вмешательство советского правительства во внутренние дела ЧССР («Посев. Спец. выпуск» 1/69). В начале октября 68 г. Яхимович пишет письмо «Призрак катастрофы» («Посев» 2/69), в котором призывает советскую власть к выводу войск из ЧССР, возвращению к «ленинским нормам», требует свободу политзаключенным и протестует против возрождения сталинизма. 28. 2. 69 Яхимович с ген. Григоренко составляют листовку «К гражданам Советского Союза!», в которой разбирают самосожжение Яна Палаха и призывают своих сограждан к чувству ответственности за преступления, творимые советской властью. Величие России оба видят не в силе штыков, а «в нравственной силе». (См. текст в книге Н. Горбаневской «Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 г. на Красной площади». Изд-во «Посев», 1970.) За несколько часов до ареста, 24. 3. 69, после проведенного у него обыска, Яхимович пишет обращение «Вместо последнего слова», в котором рассказывает о себе, предвидя кампанию клеветы, и обращается к ряду лиц с призывом и дальше бороться с несправедливостью, совершаемой властью «от имени социализма и марксизма».

25. 3. 69 Яхимовича арестовывают, затем судят и приговаривают к принудительному бессрочному «лечению» в психиатрической больнице. Сразу после его ареста по России Самиздатом стала распространяться «Белая книга по делу И. Яхимовича» под названием «Арест Ивана Яхимовича — расправа с инакомыслящими» (6 документов), составленная его друзьями. («Посев» 5/69). В настоящее время Иван Антонович Яхимович заключен в Рижской республиканской психиатрической больнице.

2) ГРИГОРЕНКО Петр Григорьевич (р. в 1907), из крестьянской семьи, украинского происхождения. Учился в Харьковском технологическом институте, но в 1931 г. был мобилизован в армию. Из армии направлен в Военно-инженерную академию

МОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

(окончил в 34 г.), а затем в Академию генерального штаба (окончил в 39 г.). Участник боев при Халкин-Голе, был ранен. За резкую критику состояния вооруженных сил СССР в первые годы Второй мировой войны получил выговор по партийной линии. Войну окончил в чине генерал-майора, был тяжело ранен; награжден пятью орденами и шестью медалями.

После войны работает в Военной академии им. Фрунзе старшим преподавателем. Автор ряда военно-исторических работ. В 49 г. защищает кандидатскую диссертацию и готовится к докторской. XX съезд КПСС оказался, как и для многих других, для ген. Григоренко переломным пунктом.

В 61 г. в качестве делегата выступает на Московской партконференции с резкой критикой политики Хрущева («Посев» 11/70). Получает партийное взыскание, увольняется с работы и отправляется в Уссурийский край с понижением в должности. Но репрессивные меры не останавливают его.

Во время отпуска в Москве Григоренко создает «Союз борьбы за возрождение ленинизма», пишет и распространяет листовки (напр. «Почему нет хлеба?» и др.), в которых анализирует существующее положение в стране и намечает возможные пути в будущее.

1. 2. 64 привлекается за это к уголовной ответственности, проходит весной 64 г. судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ им. Сербского и приговаривается к принудительному «лечению» в спецпсихобольнице в Ленинграде. Спустя год врачи «приходят к заключению», что ген. Григоренко здоров, и 16. 3. 65 его выписывают.

Выйдя на свободу, ген. Григоренко становится перед фактом, что за год, который он провел в больнице(!), его лишили звания и пенсии. 8 месяцев, с поврежденной в боях ногой, ген. Григоренко работает в магазине грузчиком. После длительных и унижительных хлопот добивается восстановления пенсии. На работу по специальности его не принимают.

Но тяжелые условия, в которые он поставлен, не мешают ему продолжать начатую им политическую деятельность: с 1966 года ген. Григоренко многократно письменно обращается в высшие партийные и правительственные инстанции с анализом и

критикой политического направления правительства и выражает протест против ряда явлений в разных областях жизни страны.

Из «Заявления генерал-майора П. Григоренко» от 21. 5. 66 («Посев» 41/67) узнаем, что он обращался к министру обороны, генеральному прокурору СССР, председателю Верховного суда СССР, Брежневу, Шелепину, в парткомиссию ЦК КПСС, к XXIII съезду КПСС. В этом же «Посеве» полностью приведены тексты двух документов Григоренко: «Что Вы намерены предпринять для ликвидации беззаконий?» (письмо А. Н. Косыгину от 20. 5. 66); «Почему я не буду голосовать за Косыгина А. Н. (Открытое письмо избирателям Московского избирательного округа по выборам в Совет национальностей» от 3. 6. 66).

8 января 68 г. ген. Григоренко демонстрирует с другими возле здания суда, в котором в те дни судили редактора «Феникса 66» Ю. Галанскова (см. отдельные материалы из «Феникса 66» в «Гр а н я х» 63, 64, 65, 67, 68, 69), составителя «Белой книги по делу А. Синявского и Ю. Даниэля» А. Гинзбурга (см. его биографию ниже), А. Добровольского и В. Лашкову. Григоренко требует, чтобы суд вызвал его свидетелем защиты.

В этот же период пишет очерк «О специальных психиатрических больницах («дурдомах»), см. Н. Горбаневская «Полдень». Обращается с открытым письмом к председателю КГБ Андропову (19. 2. 68) по поводу угроз ему со стороны КГБ. Участвует в составлении ряда документов борьбы и подписывает их: «Обращение к Президиуму консультативного совещания коммунистических партий в Будапеште» от 25. 2. 68 (в котором выражается протест против попрания прав человека в СССР, дискриминации малых наций, отсутствия гласности, политических репрессий и возрождения сталинизма в СССР) («Посев» 3/68); «К членам КПЧ, ко всему чехословацкому народу» от 28. 7. 68; этот документ ген. Григоренко с Яхимовичем лично передают в чехословацкое посольство в Москве (см. Яхимович); «Письмо пяти советских коммунистов» от 29. 7. 68 (см. Яхимович); «Письмо к гражданам нашей страны» в защиту арестованного 28. 7. 68 А. Марченко, автора книги «Мои показания» (изд-во «Посев», 1969).

МОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Осенью 68 г. ген. Григоренко принял активное участие в защите участников демонстрации на Красной площади 25. 8. 68, устроенной в знак протеста против оккупации ЧССР советскими войсками. Им были подписаны следующие документы: «Кого и за что судят в Московском городском суде в среду, 9 октября 1968 г.?..»; «Генеральному секретарю ЦК КПСС тов. Брежневу» от 9.10.68 (с 56 подписями и обратным адресом Григоренко); «Депутатам Верховного Совета Союза СССР...» от 1. 12. 68 (с 93 подписями) в защиту приговоренных демонстрантов, с протестом против поспрашения гражданских прав и требованием отменить необоснованный приговор (все три документа см. «Полдень» Н. Горбаневской).

10. 11. 68 скончался близкий друг ген. Григоренко писатель А. Е. Костерин (см. его биографию ниже). Оба принимали активное участие в защите крымскотатарского народа. 14. 11. на похороны собралось более 400 человек. Генерал Григоренко своей прощальной речью «Мы завоеваем свободу! Мы обретем демократию!» («Посев» 12/68) превратил похороны Костерина в митинг против тоталитарной власти. В этом же месяце Григоренко составил сборник «Памяти Алексея Евграфовича Костерина», ноябрь 1968, изданный Самиздатом и переизданный на Западе Фламандским Комитетом сотрудничества с Восточной Европой, Антверпен.

28. 2. 69 Григоренко с Яхимовичем составляют обращение «К гражданам Советского Союза!» (см. Яхимович). 16. 3. 69 Григоренко обращается к членам избирательной комиссии своего р-на Москвы с открытым письмом «У нас нет выборов», в котором мотивирует свой отказ участвовать в выборах в Верховный Совет («Посев» 6/69). Вторично обращается к Андропову с открытым письмом (от 29. 4. 69) о слежке за ним, обысках и о шантаже КГБ по отношению к семье скончавшегося Костерина.

После смерти Костерина ген. Григоренко перенимает его работу по защите крымскотатарского народа на себя. Его многочисленные выступления, устные и письменные, в защиту татар, изгнанных из родной земли, породили доверие и уважение к ген. Григоренко; к нему обращаются татары с просьбой выступить (с мандатом от 2000 татар) защитником десяти су-

димых борцов татарского народа в Ташкенте. Ген. Григоренко соглашается принять на себя эту миссию и готовит текст защитной речи («Посев» 9/69). По телефонному звонку из Ташкента якобы от одного из татар, сообщившего, что суд начинается 4. 5. 69, ген. Григоренко 3. 5. вылетает в Ташкент, где 7. 5. 69 арестовывается органами КГБ. (Подробности провокации КГБ и ареста см. в «Посеве. Спец. выпуск» 2/69).

Друзья и близкие ген. Григоренко выступают с разными обращениями в его защиту: «Письмо к гражданам России», «К Генеральному прокурору СССР Руденко», к военачальникам Второй мировой войны, в частности, к ген. де Голлю и фельд-маршалу Монтгомери («Посев» 6/69). Самиздат выпускает статью А. Краснова-Левитина «Свет в оконце» от 24. 5. 69 («Посев» 11/69), статью Б. Цукермана «К аресту генерала Григоренко» («Посев» 9/69). Обратилась к «Свободолюбивым гражданам мира!» жена З. М. Григоренко, передав в Самиздат «Записки» мужа, в которых он в хронологическом порядке кратко излагает события своей жизни с момента прибытия в Ташкент (3. 5.) и ареста (7. 5) до 5. 12. 69 («Посев» 4/70). Суд состоялся 26. 2. 70 г. и вынес 27. 2. 70 заочный приговор (т. к. ген. Григоренко был объявлен невменяемым, хотя 18. 8. 69, при прохождении в Ташкенте судебнопсихиатрической экспертизы, проф. Детингоф не обнаружил у него никакого психического заболевания): «Подлежит принудительному лечению в тюремной психиатрической больнице г. Казани». В настоящее время Петр Григорьевич Григоренко находится в заключении в спецпсихобольнице в Черняховске (бывший Инстербург в Восточной Пруссии, спецбольница расположена в здании старой немецкой каторжной тюрьмы) в невыносимо тяжких условиях («Посев. Спец. выпуски» 4, 5, 6 за 70-71 гг.). Адрес ген. Григоренко: Калининградская обл. г. Черняховск, учреждение 216/СТ-2.

³⁾ ГАБАЙ Илья Янкелевич (р. в 1925). Филолог. Поэт, сценарист, работал учителем, редактором. Известный участник борьбы за гражданские права (подробные биографические данные и стихи см. «Г р а н и» 76 и 77).

В добавление к биографии: автор очерка «У закрытых дверей открытого суда» (Н. Горбаневская «Полдень»), написанного

МОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

в защиту демонстрантов, выступавших 25. 8. 68 против оккупации советскими войсками ЧССР. Участвовал в составлении ряда документов борьбы и подписал их: «Кого и за что судят в Московском суде в среду, 9 октября 1968 г.?..» (см. Григоренко); «Депутатам Верховного Совета Союза СССР...» от 1. 12. 68 (см. Григоренко); «К гражданам России» и «Обращение к ген. де Голлю, маршалу Монтгомери и другим военачальникам Второй мировой войны» (май 69, в защиту незаконно арестованного ген. Григоренко, «Посев» 6/69); «Мы солидарны с народом Чехословакии» (воззвание к 1-ой годовщине оккупации ЧССР советскими войсками) от 20. 8. 69, «Посев» 8/70; «Обращение к Международному совещанию коммунистических и рабочих партий в Москве» от 1. 6. 69, (о возрождении сталинщины в СССР и связанных с этим беззакониях в стране и с призывом на основании предоставленного конкретного материала рассмотреть положение и всем возможным помочь гражданам СССР), «Посев» 8/70;

Илья Габай был арестован 19. 5. 70. При обыске КГБ обнаружил у него архивы, документирующие борьбу крымских татар за свои права. Габай был отправлен в Ташкент, где состоялся суд (с 12. 1. по 19. 1. 70) над ним и татаринцом Мустафой Джемилевым. Габай приговорен к трем годам лишения свободы (общий режим). Адрес Ильи Янкелевича Габая: г. Кемерово-28 п/я 1612/40 бр. 44 (см. «Посев». Спец. выпуск 6/71).

4) ЯКИР Петр Иванович (р. в 1923), сын расстрелянного в 1937 году командарма И. Э.Якира. В том же году 14-летним мальчиком Якир был тоже арестован как «член семьи врага народа» и провел 17 лет в тюрьмах и лагерях.

В 1954 г. реабилитирован. Историк. Член Инициативной группы по защите гражданских прав в СССР. Один из первых составителей информации о беззакониях, творящихся в стране. Автор знаменитого открытого письма в редакцию журнала «Коммунист» — «Возбудить уголовное дело против Сталина» («Посев» 5/69).

Участвовал в демонстрации в дни, когда судили Ю. Галанскова, А. Гинзбурга, А. Добровольского и В. Лашкову. Прини-

мал участие в составлении следующих документов борьбы и подписал их: «Сессии Верховного Совета СССР...», сентябрь 1966 г. (протест против введения в УК РСФСР статей 190¹ и 190² как антидемократических. См. П. Литвинов «Правосудие или расправа? Сборник документов». 1968); открытое письмо «К деятелям науки, культуры и искусства», февраль 1968 (протест против ресталинизации, беззаконий в судах и призыв к интеллигенции России к борьбе против несправедливостей и террора, творимых властью («Посев» 3/68); «Обращение к Президиуму консультативного совещания коммунистических партий в Будапеште» от 25. 2. 68 (см. Григоренко); «Кого и за что судят в Московском городском суде в среду, 9 октября 1968 г.?..» (см. Григоренко); «Депутатам Верховного Совета Союза СССР...» от 1. 12. 68 (с обратным адресом Якира, см. Григоренко); «Белая книга по делу И. Яхимовича», апрель 69 (см. Яхимович); «К гражданам России» и «Обращение к ген. де Голлю, Монтгомери и другим военачальникам Второй мировой войны», май 69 (см. Григоренко); От Инициативной группы в «Комиссию прав человека ООН» от 20. 5. 69 (с просьбой поставить на рассмотрение вопрос о нарушении в СССР одного из основных прав человека — права иметь независимые убеждения и распространять их любыми законными средствами) («Посев» 11/69); «Обращение к Международному совещанию коммунистических и рабочих партий в Москве» от 1. 6. 69 (см. Габай); «В Комитет прав человека Объединенных Наций от Инициативной группы» от 30. 6. 69 о грубейших нарушениях основных гражданских прав в СССР, с перечислением конкретных случаев и требованием к Комитету поставить на рассмотрение вопрос о нарушении основных гражданских прав в СССР; копия этого документа была лично передана Якиром иностранным корреспондентам в Москве («Посев» 7 и 10/69); «Мы солидарны с народом Чехословакии» от 20. 8. 69 (см. Габай) «Посев» 8/70; «К ответственности Советского Союза и зарубежных стран» от 26. 9. 69 (в защиту незаконно арестованного 12. 9. 69 А. Краснова-Левитина), «Посев» 11/69; «Генеральному секретарю ООН» от 26. 9. 69 (в защиту ряда незаконно репрессированных лиц, «Посев» 11/69).

21. 12. 69 (в день 90-летия со дня рождения Сталина) на Красную площадь вышла группа людей, известная своим непримиримым отношением к сталинизму (среди них П. Якир и З. М. Григоренко, жена ген. Григоренко), с целью заклеить сталинистов, собиравшихся в этот день демонстрировать свою любовь и преданность к Сталину («Посев. Спец. выпуск 3/70).

8. 3. 70 Якир обратился письменно к команде теплохода «Иона Якир» (в ответ на их письмо, обвиняющее его в «личной обиде», «необъективности», «антипатриотизме» и в том, что он бросает якобы тень на имя своего отца). В своем письме Якир отвергает все обвинения и сообщает, что борется во имя тех же идеалов, которые вдохновляли его отца, против попыток возродить сталинизм. См. «Посев. Спец. выпуск» 4/70.

28. 3. 70 Якир ответил открытым письмом через Самиздат Андрею Амальрику, автору брошюры «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», в котором, среди прочего, касается проблемы Демократического движения в стране. Он пишет: «Хотя сейчас его социальная база действительно очень узка и само Движение поставлено в крайне тяжелые условия, провозглашенные им идеи начали широко распространяться по стране, и это есть начало необходимого процесса самоосвобождения» (см. «Посев. Спец. выпуск» 4/70).

В мае 70 г. члены Инициативной группы (в том числе Якир), отмечая 1-ю годовщину своей деятельности, дали под заглавием «Что такое Инициативная группа?» разъяснение, в чем состоит цель ее работы, каковы пути ее борьбы, каков ее состав и сколько членов ее уже репрессировано. («Посев» 11/70);

В июле 70 г. стало известно, что А. Амальрик, В. Буковский и П. Якир дали телевизионное интервью московскому корреспонденту радиокompании «Коламбия бродкастинг корпорэшен». В нем Якир коротко изложил историю возникновения оппозиции в СССР, ее пути и задачи, и кончил так: «Нас будут бить, будут убивать, но несмотря на это люди будут думать по-другому» («Посев» 8/70). В сентябре-октябре 70 г. Чалидзе, ак. Сахаров, А. Вольпин и П. Якир обратились к «Президиуму Верховного Совета СССР» с призывом освободить В. Новодворскую, О. Иофе, А. Марченко и ген. Григоренко.

В настоящее время Петр Ионович Якир — единственный из его старых друзей и соратников — находится еще на свободе, но ждет ареста со дня на день. «Нас не будет — будут другие», — с уверенностью говорит он. Его адрес: Москва Ж-280, Автозаводская ул. 5, кв. 75.

5) КРАСИН Виктор (р. в 1929), отец троих детей. Экономист. Работал сотрудником Центрального экономико-математического института. Узник сталинских лагерей. Член Инициативной группы по защите гражданских прав в СССР. Активный борец против сталинизма. В последнее время Красин заканчивал работу над кандидатской диссертацией.

В. Красин участвовал в составлении ряда документов борьбы и подписал их: «Обращение к Президиуму консультативного совещания коммунистических партий в Будапеште» от 25. 2. 68 (см. Григоренко), «Посев» 3/68; «Письмо к гражданам нашей страны» от 28. 7. 68, в защиту арестованного А. Марченко, («Посев. Спец. выпуск» 1/ 69); «Депутатам Верховного Совета Союза СССР...» от 1. 12. 68 (с обратным адресом В. Красина) (см. Григоренко), Н. Горбаневская «Полдень»; «Белая книга по делу Яхимовича», май 69 (см. Яхимович), «Посев» 5/69; «Обращение в Комиссию прав человека ООН» от 20. 5. 69 (см. Якир), «Посев. Спец. выпуск» 2/69; Обращение «В Комитет Прав человека Объединенных Наций от Инициативной группы» от 30. 6. 69 (см. Якир), «Посев» 7 и 10/69; «Мы солидарны с народом Чехословакии» от 20. 8. 69 (см. Габай), «Посев» 8/70; «Генеральному секретарю ООН» от 26. 9. 69 (см. Габай), «Посев» 11/69 и др.

Красин был арестован 20. 12. 69 г., судим 23. 12 и приговорен к 5 годам высылки. 24. 12. 69 этапирован в Красноярский край. Адрес Виктора Красина: Енисейский р-н, село Маковское, до востребования («Посев. Спец. выпуск» 4/70).

6) ТАЛАНТОВ Борис Владимирович (р. в 1903) в Костроме, в семье священника. Отец и брат погибли в лагерях. Сам Талантов с 30 г. по 41 г. подвергался из-за своего происхождения преследованиям со стороны власти. Учился в Московском межевом институте, окончил Педагогический институт в Кирове, где впоследствии преподавал курс высшей математики. Отец многодетной семьи.

Впервые был уволен с работы из пединститута за религиозные убеждения в 54 г. Вторично — из Кировского политехнического института и объявлен «врагом народа» в 58 г. (за открытое письмо в «Правду» с протестом против произвола и незаконий сталинской эпохи, написанное в июле 57 г.). В 60 г. Талантов посылает открытое письмо в журнал «Наука и религия», с опровержением лжи антирелигиозной пропаганды. В ноябре 63 г. — открытое письмо в «Известия» («о массовом разрушении памятников церковного зодчества в Кировской области»). Талантов — инициатор и автор «Открытого письма верующих Кировской (Вятской) епархии патриарху Алексию и всем верующим Русской Православной Церкви», август 66 г. («Посев» 51/66).

После этого письма началась его травля в советской печати. В декабре 66 г. он отправляет открытое письмо в «Известия» — «Советское государство и Христианская религия». В 67 г. Самиздат распространяет статью Талантова «Сергиевщина или приспособленчество к атеизму (Иродова закваска)», «Посев» 5/70; в марте 68 г. пишет статью «Советское общество. 1965–68 гг.» (Самиздат, см. «Посев» 9/69). 26 апреля 68 г. отправляет «Жалобу» на имя Генерального прокурора СССР («Посев» 11/68), в которой подробно излагает историю своей активной общественно-церковной деятельности в условиях СССР.

В целом ряде других документов Талантов так же открыто и мужественно выступал против закрытых судов, преследования инакомыслящих, бесчеловечного содержания политзаключенных в тюрьмах и концлагерях, политической цензуры и утверждал право человека на свободу слова и печати, на подлинную свободу совести.

12. 6. 69 Талантов был арестован в г. Кирове и судим 1. 9. 69. (См. А. Краснов-Левитин «Драма в Вятке» от 28. 6. 69, «Посев» 10/69). Суд приговорил его к 2 годам заключения в концлагерях. На суде Талантов подтвердил верность всем своим убеждениям и простился с родными и друзьями, т. к. по состоянию здоровья и возрасту не надеялся уже выйти на свободу. С 6. 11. 70 находился в тюремной больнице г. Кирова.

4. 1. 1971 г. Борис Владимирович Талантов скончался в

тюрьме от сердечного припадка («Посев» 3/71).

7) ШАВРОВ Вадим (р. в 1924), москвич, из семьи старого большевика, крупного военного. Был членом ВЛКСМ. Окончил Подготовительное Военно-Морское училище. Добровольцем прошел всю войну 1941-45 гг. Награжден многими орденами и медалями. Инвалид Отечественной войны и персональный пенсионер.

В 48 г., вслед за отцом, был арестован и осужден на 10 лет. В 54 г. на каторге стал верующим. В его обращении к Богу определенную роль сыграл его сокамерник — А. Краснов-Левитин. После реабилитации Шавров окончил духовную семинарию и стал готовиться к поступлению в духовную академию. Он — друг и соавтор А. Левитина по работе над «Очерками по истории русской церковной смуты». Шавров — один из 32, подписавших «Обращение к общественности Советского Союза и зарубежных стран» от 26. 9. 69 в защиту арестованного 12. 9. 69 г. А. Левитина («Посев» 11/69).

В «Гранях» 63 был опубликован автобиографический очерк В. Шаврова «Весенние мысли и воспоминания (исповедь человека, который верит в Бога)».

8) КУШЕВА (урожд. Кац) Людмила Абрамовна — жена Е. И. Кушева. Активно поддерживает Инициативную группу по защите гражданских прав в СССР. Участница демонстрации, устроенной 22. 1. 67 в защиту арестованных Ю. Галанскова, А. Добровольского и В. Лашковой. В качестве свидетельницы выступала на их процессе 8. 1. 68 (см. «Процесс цепной реакции. Сборник документов по делу Ю. Т. Галанскова, А. И. Гинзбурга, А. А. Добровольского, В. И. Лашковой». Изд-во «Посев», 1971). Была также свидетельницей на процессе В. Буковского, В. Делоне и Е. Кушева 30. 8-1. 9. 67, (см. П. Литвинов «Правосудие или расправа? Сборник документов». 1968).

Участвовала в составлении ряда документов борьбы и подписывала их сначала фамилией Кац, затем — Кушевой. Из последних, подписанных ею:

«Депутатам Верховного Совета Союза СССР...» от 1. 12. 68 (см. Григоренко), в книге Н. Горбаневской «Полдень»; «Обращение к общественности Советского Союза и зарубежных стран» от 26. 9. 69 (в защиту арестованного А. Краснова-Левитина),

МОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

«Посев» 11/69; обращение к «Генеральному секретарю ООН» от 26. 9. 69 (см. Габай), «Посев» 11/69.

⁹⁾ БУРМИСТРОВИЧ Илья Евсеевич (р. в 1938), отец малолетней дочери, кандидат физико-математических наук, автор 9 научных исследований. Работал старшим научным сотрудником института Академии педагогических наук.

Арестован 16. 5. 68. Судим 21. 5. 69 в Москве. Приговорен к трем годам исправительно-трудовых лагерей общего режима. (См. «Посев. Спец. выпуск» 2/69 и 4/70 — «Сокращенная запись судебного процесса Ильи Бурмистровича» и «Письмо жены Бурмистровича Ольги Кислиной»).

Приговор вынесен за размножение и распространение Бурмистровичем произведений А. Синявского и Ю. Даниэля, материалов по процессу Ю. Галанскова и А. Гинзбурга и других изданий Самиздата (стихи Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой).

Из «Последнего слова» И. Бурмистровича: «...Основное противоречие я вижу в том, что под видом борьбы с распространением произведений Синявского и Даниэля борются с распространением всех произведений вообще. Под видом борьбы с распространением клеветы борются с тем, чтобы люди знали правду... Возникает вопрос: может ли правда быть идеологически вредной? Этот вопрос сейчас является основным».

В настоящее время Илья Евсеевич Бурмистрович находится в концлагере. Его адрес: Красноярский край, ст. Н. Ингаш п/я 283/1-5-3.

¹⁰⁾ КУШЕВ Евгений Игоревич (р. в 1947), москвич, из артистической семьи. Автор поэмы «Декабристы» («Г р а н и» 66). Один из основателей «Клуба Рылеева» (6. 4. 64) — содружества молодежи под лозунгом «Культура, правда, честь». Один из редакторов литературно-общественного журнала «Русское слово», 1966 («Г р а н и» 66) и журнала «Социализм и демократия». Кушев — участник демонстрации 5.12.65, устроенной в защиту арестованных писателей А. Синявского и Ю. Даниэля. За участие в ней отбывал заключение в сумасшедшем доме. В 1965 г. познакомился с А. Красновым-Левитиным. В девятнадцать лет обратился к Богу и крестился. А. Краснов-Левитин —

его крестный отец. 22. 1. 67 принял участие в митинге у памятника Пушкину, организованном в защиту арестованных Ю. Галанскова, А. Добровольского и др. Был арестован и пробыл 7 месяцев в предварительном заключении. 30. 8 — 1. 9. 67 г. судим вместе с В. Буковским и В. Делоне. Приговорен к 1 году лишения свободы условно. (П. Литвинов «Правосудие или расправа? Сборник документов». 1968). 8 января 68 г. выступил на суде над Ю. Галансковым, А. Гинзбургом, А. Добровольским и В. Лашковой в качестве свидетеля (Кушев — один из авторов журнала «Феникс 66», редактировавшегося Ю. Галансковым). По поводу его выступления на суде см. письмо Е. Кушева в «Комсомольскую правду», «Посев» 3/68.

¹¹⁾ КОСТЕРИН Алексей Евграфович (р. в 1896), из рабочей семьи. Советский писатель. С 16-летнего возраста включается в революционную работу, за что 3 года проводит в тюрьме. С 1916 г. — член РСДРП(б). Участник гражданской войны. В 20-х годах входит в литературу, публикует много книг («Посев» 12/68).

В мае 38 г. — арест и затем 17 лет тюрем и концлагерей. (См. «Дневник Нины Костериной», журнал «Новый мир» № 12 за 1962 г.) После реабилитации Костерин посвящает себя борьбе за справедливость, главным образом активно участвует в защите репрессированных малых наций: крымских татар, немцев Поволжья, турок и др. В 1958 г. за защиту чечено-ингушского народа Костерина исключают из партии, впоследствии снова восстанавливают.

В июле 67 г. обращается с открытым письмом к М. Шолохову, в связи с его выступлением на XXIII съезде КПСС и травлей Солженицына, и обличает его во лжи и подлости как человека и писателя («Посев» 2/69). Откликаясь на возрождение сталинизма в стране и чехословацкие события Костерин участвует в составлении ряда документов борьбы и подписывает их: «Обращение к Президиуму консультативного совещания коммунистических партий в Будапеште» от 25. 2. 68 (см. Григоренко), «Посев» 3/68; «Письмо пяти советских коммунистов» от 29. 7. 68 (см. Яхимович), «Посев». Спец. выпуск 1/69; «Кого

и за что судят в Московском городском суде в среду, 9 октября 1968 г.?..» (см. Григоренко), Н. Горбаневская «Полдень».

В это время Костерин уже тяжело болен, но продолжает все так же свою борьбу за справедливость против произвола и незаконий власти. В течение последних лет своей жизни, именно вследствие активной деятельности, главным образом направленной на защиту крымскотатарского народа, Костерин подвергается систематической травле в прессе, обыскам и допросам.

Ответом на ряд его писем в правительственные и партийные органы страны, в которых содержался анализ и критика отрицательных явлений внутрипартийной и общественной жизни, было исключение Костерина из КПСС 17. 10. 68 с грубейшим нарушением партийного устава.

Не приняв этого исключения, Костерин, уже с двойным инфарктом, смертельно больной, пишет 24. 10. 68 в Политбюро ЦК КПСС свой знаменитый ответ «В КПСС рассуждать не разрешено...» (Посев» 2/69), в котором не только разбирает свой случай, но, называя КПСС «жандармом Европы», произносит приговор всему режиму, характеризуя общую линию нынешнего руководства партии и рассматривая свой случай лишь как логическое следствие возрождения сталинизма, с присущими ему пороками: преследование и уничтожение малых наций, удушение всех свобод, партийная кастовость, презрение к собственным государственным и партийным законам (а отсюда — полнейший произвол и беззаконие).

«В знак протеста, — пишет он в конце письма, — против грубейшего нарушения устава партии и в целях освобождения себя от партийной дисциплины, лишаящей меня свободы мышления, я выхожу из КПСС и возвращаю свой партийный билет...»

30. 10. 68 Костерина исключают из Союза советских писателей. А 10. 11. 68 он скончался. На его похоронах, 14. 11. присутствовало свыше 400 человек, среди них — много представителей малых наций, на защиту которых отдал он столько сил. Похороны, благодаря надгробной речи его друга ген. Григоренко, превратились в политический митинг за свободу и де-

мократию (см. «Памяти Алексея Евграфовича Костерина», ноябрь 1968 г. Составитель П. Г. Григоренко).

¹²⁾ ГОРБАНЕВСКАЯ Наталья Евгеньевна (р. в 1936), москвичка, мать двоих малолетних сыновей, поэт, член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (см. подробные биографические данные в «Гр а н я х» 76 и стихи в «Гр а н я х» 52, 67, 69, 70, 76). (Сборник ее стихов вышел в изд-ве «Посев»: Н. Горбаневская «Стихи»).

Горбаневская — участница демонстрации 25. 8. 68 и автор книги «Полдень» (Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади). Изд-во «Посев», 1970.

28. 8. 68 Горбаневская отправила письмо «Главным редакторам газет» всего мира, с информацией о демонстрации, организованной в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками, и о реакции властей на нее («Полдень»). Принимала участие в составлении следующих документов борьбы и подписала их: «Письмо к гражданам нашей страны», конец июля 68 г., в защиту арестованного А. Марченко (см. Григоренко), «Посев. Спец. выпуск» 1/69; «В комиссию прав Человека ООН» от 20. 5. 69 (см. Якир), «Посев. Спец. выпуск» 2/69; «В Комитет прав человека Объединенных Наций от Инициативной группы» от 30. 6. 69. (см. Якир), «Посев» 7 и 10/69; «Мы солидарны с народом Чехословакии» от 20. 8. 69 (к годовщине оккупации), «Посев» 8/70; «К общественности Советского Союза и зарубежных стран» от 26. 9. 69 (в защиту арестованного А. Краснова-Левитина), «Посев» 11/69; «Генеральному секретарю ООН» от 26. 9. 69 (см. Якир), «Посев» 11/69.

24. 12. 69 Н. Горбаневская была арестована и 7. 7. 70 судима. Суд приговорил ее к «помещению в психиатрическую больницу специального типа для принудительного лечения. Срок лечения не указывается» («Посев. Спец. выпуск» 6/71). По последним сведениям Наталья Евгеньевна Горбаневская всё еще заключена в психиатрической больнице Бутырской тюрьмы в Москве. В декабре 70 г. ею была проведена голодовка в знак протеста против ее незаконного содержания в тюрьме. Последние ее стихи, написанные уже в тюрьме, см. в «Вестнике РСХД» 98/70.

¹³⁾ ГИНЗБУРГ Александр Ильич (р. в 1936), москвич, поэт и публицист. Редактор 3 номеров подпольного литературного журнала московской и ленинградской молодежи «Синтаксис» (декабрь 59 — апрель 60), в котором публиковались Б. Окуджава, Б. Ахмадулина, И. Бродский и др. (см. «Гр а н и» 58). В связи с этим Гинзбург был арестован и осужден на 2 года концлагерей (отбывал срок в лагерях Коми АССР).

В 1964 г. арестован вторично, якобы за хранение антисоветских материалов, но за отсутствием состава преступления дело было прекращено («Посев. Спец. выпуск» 1/69). Но в конце этого следствия Гинзбург вынужден был под давлением КГБ и при его «помощи» опубликовать открытое письмо в газете «Вечерняя Москва» от 3. 6. 65 — «Ответ господину Хьюгесу», — которое сам Гинзбург определил как акт «самобичевания» (наряду с прочим в письме упоминаются и «Гр а н и»).

После ареста писателей А. Синявского и Ю. Даниэля принимает участие в демонстрации 5. 12. 65 г., устроенной в их защиту, и пишет письмо А. Н. Косыгину («Гр а н и» 62). В течение 66 г. Гинзбург собирает все материалы, относящиеся к судебному процессу Синявского и Даниэля, и в октябре 66 г. составляет «Белую книгу о деле Синявского и Даниэля». Экземпляры этой книги он сразу же отправляет в КГБ, депутатам Верховного Совета, Н. Подгорному и др. государственным деятелям. Один экз. книги был переслан из России в «Гр а н и», и часть материалов была опубликована в № 62, в ноябре 66 г. (В 1967 г. «Белая книга» вышла по-русски и по-немецки в изд-ве «Посев»).

22. 1. 67 Гинзбург участвует в демонстрации, устроенной в защиту арестованных В. Лашковой (17. 1. 67), Ю. Галанскова и А. Добровольского (19. 1. 67) по делу журнала «Феникс 66». Сам Гинзбург был арестован 23. 1. 67. На суде, состоявшемся 8. 1. 68, он был приговорен к 5 годам лагерей строгого режима (см. книгу «Цепная реакция». Сборник документов по делу Ю. Т. Галанскова, А. И. Гинзбурга, А. А. Добровольского, В. И. Лашковой». Изд-во «Посев», 1971).

На каторге Гинзбург дважды объявлял и проводил голодовку: в первый раз — из-за отказа в свидании с женой, во

второй — в знак протеста против перевода Ю. Даниэля и В. Ронкина во Владимирскую тюрьму. Участвовал в составлении «Письма политзаключенных Мордовии в Президиум Верховного Совета СССР», в связи с предполагаемым рассмотрением нового Исправительно-трудового кодекса. Авторы письма предлагают депутатам Верховного Совета или легализовать беззакония, творящиеся в лагерях, или пересмотреть советские законы о правах граждан. В письме приводятся конкретные случаи оскорблений, насилий и избиений заключенных («Посев» 7/69). Во второй половине 69 г. 7 политкаторжанами, в том числе и Гинзбургом, были отправлены письма-обращения «Позорная система лагерей» («Посев» 6/70) 7 советским деятелям культуры, в которых творческая интеллигенция России, формирующая общественное мнение, призывается к ответственности за карательную политику советского правительства: «Игнорировать эту трагическую для нации проблему и замалчивать ее — преступно,» — так заканчивают авторы свое письмо («Посев» 6/70).

В июле 70 г. по телевидению в США и Европе передавали интервью А. Амальрика, В. Буковского и П. Якира (см. Якир). К ним была присоединена лента с записью краткого выступления А. Гинзбурга, сделанная в лагере. В нем Гинзбург, описав положение каторжан, сказал, что их, заключенных, поддерживает «гнев, протест, солидарность всех честных людей земли, всех, кому дорого достоинство человека, демократия и мир. В их решительном «нет» современному варварству я вижу реальную гарантию соблюдения прав человека здесь и во всем мире» («Посев» 8/70).

18. 8. 70 г. в Явасе над Гинзбургом состоялся суд (его обвинили в участии в голодовках и дурном влиянии на заключенных). 25. 8 Александр Ильич Гинзбург переведен из Дубровлага, отделение 17 Мордовских исправительно-трудовых лагерей во Владимирскую тюрьму, на строгий режим («Посев. Спец выпуск» 6/70).

РЕДАКЦИЯ

Записки из Красного дома

В середине декабря 1968 года пришла почтовая открытка: «Тов. Шиманов! Явитесь в психиатрический диспансер для проверки по адресу...» Я повертел ее в руках, задумался:

«Н-да... в течение шести лет после больницы им. Ганнушкина меня не вспоминали... а тут вдруг вспомнили... Значит, неспроста... Конечно, может быть какая-нибудь ерунда, простая формальность... Но едва ли... По-видимому, готовится какая-то провокация... Что ж, сила на их стороне... Но сам-то я по крайней мере добровольно к ним в рот не полезу...»

Я разорвал открытку и выбросил в унитаз.

А через месяц, когда стала уже забываться повестка, приходит молодая женщина, представляется Ирой из диспансера и любезно расспрашивает меня о моем здоровье. Мягко журит меня:

— Что же вы, Геннадий Михайлович, по открытке к нам не явились? Заставляете меня в такой конец к вам ехать... Да еще и в такой мороз...

А мороз на самом деле свирепый.

Я человек мягкий, совестливый. Почти устыдился от ее слов... Да вовремя спохватился: это она меня в сумасшедший дом заманивает.

— Я считаю себя здоровым, — отвечаю я, — и в визитах к врачам не нуждаюсь.

— Но ведь врачи лучше знают, здоровы ли вы.

Г. М. Шиманов (р. в 1937), публикуемый очерк — из его сборника «Перед смертью» (философские и автобиографические матерьялы), распространяемого Самиздатом («Посев. Спец. выпуск» 4/70). — Р е д.

Ну, придите... Ну, что вам сто́ит? Это же формальность, к нам каждый год приходят отмечаться больные.

— А я — не больной. Таково мнение мое, а также моей жены и людей, которые меня окружают.

Сестра обращается к моей жене:

— Вы как — считаете его здоровым?

— Да, — отвечает Алла, — я, и наши родственники, и знакомые не сомневаются в этом.

Сестра несколько обескуражена, но всё же пытается уговаривать. Получив отказ, уходит ни с чем.

Через месяц-полтора она приходит снова, опять уговаривает и уходит с тем же.

Третий визит состоялся двадцать четвертого апреля. На этот раз сестра сообщает мне, что из КГБ и с моей работы поступили запросы в диспансер в связи с моим неправильным поведением. Врачи, не имея контакта со мною, не знают, что на них ответить. Якобы в некоей организации принято уже решение о помещении меня в психиатрическую больницу. Но это еще можно предупредить, если врачебная комиссия приедет ко мне на дом и обследует меня... Согласен ли я на это и буду ли я в определенный день, когда приедут врачи, дома? Я отвечаю:

— Если вы после этого от меня отстанете, то пусть приезжают.

Договариваемся с сестрою на понедельник, двадцать восьмого апреля, на два часа дня. Она уходит.

Вскоре я отправляюсь гулять с моим сыном. Алла в институте и придет не скоро, часов в одиннадцать вечера, — у нее горячие дни, подготовка к защите диплома. А мне приходится заниматься с Кириллом — ему год и два месяца...

Возвращаемся с прогулки — в дверях записка от нашей знакомой: «Генмих! Заходила к вам, не застала дома. Приезжала «скорая помощь», позвонили к вам,

сказали, что у Кирилла температура, развернулись и уехали».

Вот оно как... Стало быть, приезжали уже санитары. Сестра сообщила им, что я дома... значит, можно брать... А что было бы с Кириллкой?.. Как бы он отнесся к тому, что чужие люди вошли в дом, скрутили его отца и увели куда-то?.. Он, вероятно, был бы в ужасе... А куда бы они его дели? Тоже в сумасшедший дом?.. Или в милицию? Или оставили с ним сидеть санитаров?.. Представляю, как бы он здесь орал до одиннадцати часов весь день с чужим человеком... Хоть бы уж до прихода Аллы меня не забирали...

Запираю на все замки дверь. Выглядываю в окошко: не приехали ли они опять?

А напротив нашего дома площадка, на которой часто стоят то милицейские, то медицинские машины... Недалеко и милиция, и какое-то медицинское учреждение.

Укладываю Кирилла спать. Зажигаю лампаду. Открываю Библию. За окном понемногу темнеет...

В начале одиннадцатого приходит Алла, и я рассказываю ей обо всем, показываю записку. Да... Мало того, что меня забирают в сумасшедший дом, но еще и чертовски не вовремя. У Аллы самая горячка, самая спешка с работой над дипломом. Должен был сидеть с Кириллом я, изредка — больная моя мама. А теперь некому — мама одна не сможет. Придется кого-то просить, а просить некого... нервничать, метаться как раз тогда, когда не хватает времени на диплом... И еще неизвестно, что там будут вытворять над мужем обезумевшие врачи...

Утром прощаемся с Аллой. Я целую моего Генмишонка. Иду на работу, оглядываясь по сторонам, — откуда вынырнут эти башибузуки?.. Прихожу на работу, приступаю к своим обязанностям. Пока все идет нормально...

Работаю я сторожем. Днем открываю и закрываю

ворота, пропускаю машины. Вечером запираю их на замок и хожу по двору вместе с собакой — не залез бы кто на нашу Экспедиционно-складскую базу. Работа неприбыльная, всего шестьдесят пять рублей, но зато есть свободные дни — можно сидеть с сыном.

Часа этак в два после полудня разворачивается возле наших ворот «Волга», из нее вылезают двое — начальник особого отдела при Министерстве геологии СССР тов. Балинский М. И. и один из его подчиненных. И того и другого я знаю в лицо — я ведь всего лишь неделю как перестал в министерстве работать (я работал на двух работах: здесь и там). Оба проходят мимо меня, не здороваясь. Поднимаются на второй этаж, в контору.

«Ну, думаю, начинается...»

Однако через час оба уезжают, так меня и не тронув. Вроде бы пронесло... Через некоторое время звонит Алла:

— Ну, как ты? Жив еще, Генмих?..

— Пока живой! — отвечаю я.

Но через пятнадцать минут опять приезжает проклятая «Волга» и опять проходят эти люди к директору. Вскоре просят и меня подняться к нему. В кабинете нас четверо: директор ЭСБ тов. Чередниченко Иван Иосифович, шофер Петухов Анатолий (он же председатель месткома), мой непосредственный начальник Ильенко Василий Маркович и я. Те двое из особого отдела, по-видимому, спрятались где-то в соседнем кабинете. Обычно добродушный Иван Иосифович на этот раз смотрит на меня грозно:

— Что же вы, товарищ Шиманов? Мы вас считаем здесь дисциплинированным хорошим работником, а вы — безобразничаете?

— Что вы имеете в виду, Иван Иосифович?

— Почему вы не являетесь в диспансер? К нам поступили на вас жалобы... Что за причина? Почему вы уклоняетесь?

— Я не считаю себя больным, Иван Иосифович, и в беседах с врачами не нуждаюсь. Если же они сами нуждаются во мне, то пусть и приезжают ко мне на дом, а у меня нет времени разъезжать по чужим делам. Кстати, у меня уже была медсестра, и мы договорились с нею, что врачебная комиссия приедет ко мне на дом в понедельник.

— Но неужели вам так трудно было зайти по вызову самому? Почему я, когда меня вызывают куда-нибудь, в том числе и в поликлинику, не добиваюсь того, что на меня жалуются начальству, а трачу десять минут — и весь разговор?..

— У вас другой случай, Иван Иосифович. Ведь меня хотят насильно положить в больницу, несмотря на то, что я здоров.

— Чепуха! Неправда! Я вам ручаюсь: с вами поговорят врачи, осмотрят вас — это займет не больше десяти минут — и отпустят... Вот я даю машину, с вами поедут Ильенко и Петухов, и они же вас привезут обратно — будете продолжать дежурство...

А вдруг на самом деле меня не положат в сумасшедший дом? Едва ли... Но если уж они приняли решение, то рано или поздно — всё равно схватят. Пусть уж лучше берут сейчас, на работе, на виду у всех, при свидетелях, что меня, здорового, отвозят в психдиспансер...

— Хорошо, — говорю, — едем.

Мы выходим из конторы, садимся в «рафик», едем по людным улицам Москвы. Конец рабочего дня. Вот Лермонтовская, Садовое кольцо, Ленинградское шоссе, Хорошевка.

— Слушай, что там случилось у тебя? Я ничего не понял... — спрашивает Петухов.

— Да это слишком длинная история, — отвечаю. — В двух словах не расскажешь. В общем-то с КГБ связано... Там меня не особенно любят...

— А что же ты — шпион, что ли? Что-то я ничего не понимаю...

— А ты сам рассуди: если бы за мною было какое преступление, меня бы не везли в диспансер, меня бы арестовали. А так — арестовать не за что, а поугагать меня хочется... Вот и везут в психдиспансер.

— А разве тебя в психдиспансер?..

— А он тебе что, не сказал, что ли?

В кабинете главврача в диспансере на Хорошевском шоссе меня сразу же обступили врачи (спутники мои остались в коридоре).

— Товарищ Шиманов, почему упорно отказываетесь являться на наши вызовы?

— Я не считаю себя больным.

— Но вы обязаны являться! Вы что, думаете — вы один у нас такой? Если к каждому врачи будут на дом ходить, им работать некогда будет!

— А меня это не касается. Я уже объяснил вам, что в контактах с врачами не нуждаюсь. А закона, обязывающего меня являться к вам, — тоже нет. Так что если вы уверены в своей правоте, присылайте просто своих санитаров, присылайте милицию — пусть вяжут меня и везут в сумасшедший дом. Сам я к вам ходить не намерен.

— Ну, это глупо, глупо... — начинается обычное препирательство.

— Вот вы говорите, что вы здоровый... А между тем к нам поступают на вас запросы из КГБ... Оказывается, вы неправильно себя ведете... Что вы на это скажете?

— Я могу только сказать, что к советской власти отношусь лояльно и что никаких преступных акций за мною нет. Если бы они были, то КГБ давно бы арестовал меня.

— Но ведь запросы на вас тем не менее поступают... Значит, должна быть какая-то причина, заставляющая их обращаться к нам?..

— Вот и скажите мне конкретно, что это за причина. Тогда будем говорить по существу.

— Они нам конкретно ничего не говорят.

— Ну и я не знаю. А почему бы вам не поинтересоваться у них? Ведь это так естественно...

— Мы это еще успеем... Ну а все-таки: что-нибудь то за вами есть?.. В демонстрациях, может, участвовали?..

— Нет, не участвовал.

— А листовки?

— Тоже нет.

— Да... Ну, ладно. Потом разберемся... А вы верующий?

— Да, я верю в Бога.

— Так... А какую вы веру признаете? Или у вас какая-нибудь собственная?

— Я — православный христианин.

— И в чем же ваша вера, так сказать, проявляется?

— Я хожу в церковь, причащаюсь, молюсь, соблюдаю посты.

— Вероятно, много читаете религиозной литературы?

— Не особенно много, но читаю.

— И у вас есть какие-нибудь собственные теории?

— Нет, собственных теорий не имею. Я полностью принимаю вероучение нашей Церкви.

— Но какие-то свои представления о Боге у вас есть же?

— Есть, разумеется... Но они полностью совпадают с представлениями Церкви.

Входят санитары.

— Вы что, кладете меня в больницу?

— Да, ненадолго, всего на несколько дней. Нам надо что-то ответить КГБ, а мы не можем, так как совершенно не знаем, здоровы ли вы... Не думайте, пожалуйста, что мы против вас вместе с КГБ... Наоборот, наша обязанность — помогать своим больным и защищать их.

— Но я протестую против незаконного помещения меня в сумасшедший дом!

Санитары крепко берут меня под руки и выводят на улицу. «Рафика» с моими бывшими провожатыми уже нет. Меня запикивают в «чумовоз», — там уже сидят трое шизиков, я — четвертый, пятым залезает санитар. Другой санитар снаружи запирает дверцу машины, садится в кабину, и «чумовоз» трогается.

В приемной больницы им. Кащенко — унылое получасовое ожидание. Я сижу на кожаном диване. Чувствую, что чего-то не хватает... Но чего? Не пойму... А-а! Нет портретов вождей и плакатов с лозунгами. Ясно! Нужна спокойная обстановка... А вот и моя очередь — вхожу в кабинет врача. Усталая женщина в белом халате задает мне всё те же, что и в диспансере, вопросы, а я почти в тех же выражениях, что и раньше, на них отвечаю.

— Ладно, потом разберемся, — говорит врач, и меня проводят в смежную комнату, где приказывают раздеться и снимают, несмотря на мои протесты, с меня крест. Врач выслушивает меня, осматривает кожу; и вот я сижу уже в грязной, почти не обмытой после предыдущего больного ванне. Намыливаюсь, санитарка поливает меня из душевой трубки. Надеваю больничное белье. Всё!.. Вот теперь я уже настоящий сумасшедший.

Снова в сопровождении санитаря сажусь в «чумовоз».

— Куда меня направляют? — спрашиваю я его.

— В четвертое отделение.

— А это как — буйное или легкое?

— Не то, чтобы очень буйное... но и не легкое... так... среднее... полубуйное... А за что это тебя взяли?

— За религию.

— Ну, неправда. За религию не сажают. За политику — это другое дело. А за религию... Нет, ты что-то напутал...

«Чумовоз» подъезжает к двухэтажному красному дому. Расположены в нем первые четыре отделения больницы. Поднимаемся на второй этаж, гремят ключи,

отпираются двери. Народу в отделении много, но все-таки меньше, чем в свое время в полубуйном отделении больницы им. Ганнушкина. И воздух гораздо чище. Получаю койку в «веселой» половине отделения. С меня снимают очки. Хочу есть, но ужин уже кончился, надо будет обождать до утра. Подходят больные, интересуются: кто я? откуда? Но у меня совсем нет настроения разговаривать. Отдельваюсь односложными ответами, разбираю постель, ложусь, накрываюсь с головой одеялом — утро вечера мудренее...

Господи Боже наш! Еже согреших во дни сем — словом, делом и помышлением, — яко благ и Человеколюбец, прости ми... Мирен сон и безмятежен даруй ми, Ангела Твоего Хранителя послы, покрывающа и соблюдающа мя от всякого зла... яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим и Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков... Помилуй нас, Боже, с Аллой и Кириллом, с мамой и всеми родственниками нашими, с духовным моим отцом и всеми братьями моими по вере, всех христиан и всех ищущих Тебя и еще не нашедших... И всех врагов наших помилуй... Аминь...

Утром с меня сдергивает одеяло санитар:

— Умываться!..

Читаю утреннюю молитву, иду в ванную, там на меня нападает какой-то больной, но другие оттирают его от меня:

— Ты что, по шее захотел?..

Тот, с ненавистью глядя на меня, отходит. А в уборной подходит ко мне человек с вдохновенным лицом:

— Вы знаете поэта Владимира Волгина?

— Нет, не знаю.

— Это — гениальный поэт, его знает вся страна.

— Может быть... Я последние годы мало интересуюсь поэзией...

— Хотите, я прочитаю вам стихи? Волгин — это я! Выслушав несколько стихотворений и похвалив их,

я пытаюсь ускользнуть, но отделаться от графомана не так-то просто. Время от времени он подъезжает ко мне со всё новыми стихами и даже списывает их специально для меня, — и дарит с автографом.

— Берегите их, Гена... Со временем это будет большая ценность.

Через некоторое время он спрашивает меня:

— Гена, а я похож на грузина?

— Да как вам сказать...

— Правда, у меня глаза и нос грузинские?

— Пожалуй...

— Я вам открою страшную тайну, Гена... Я — сын Сталина... Владимир Александрович Сталин... Моя мать — артистка Киевской оперы... Вы понимаете?.. Когда снова переименуют Волгоград в Сталинград, тогда и я откроюсь... А пока — тсс!..

— Эй, Сыров, иди на уколы! — кричит моему собеседнику медсестра, и тот с важным видом отправляется в процедурную.

— Тебе тоже уколы, — подходит ко мне санитар, и я понуро плетусь за Сыровым. Стою в кабинете, жду своей очереди.

— А ты зачем пришел? — спрашивает сестра.

— На уколы, — отвечает за меня санитар.

— Так ему же врач еще ничего не назначил...

— Ну, иди назад, — говорит санитар. — Придет врач, тогда и лечить будем...

Сижу на койке, дожидаясь завтрака. Молоденький круглолицый паренек подходит, заговаривает со мною:

— За что тебя?

— За религию.

— А разве за религию сажают?

— Как видишь.

— А ты что же, в Бога веришь?

— Да.

— И крест носишь?

— Да.

— Здесь тоже у одного крест отобрали... А Бог есть?

— Есть.

— Правда, есть?

— Правда.

— А ты не врешь?

— Нет.

— Честное слово — есть?

— Честное слово.

— А почему же никто не верит?

— В Библии сказано, что в последние времена многие отойдут от веры. Но многие веруют и сейчас.

— Моя мать верует.

— Вот видишь.

— А я не верю.

— Ты молодой еще... жизни не знаешь как следует... А узнаешь — может быть, тоже будешь верить.

— А я красивый?

— ?!. Да... Ты симпатичный парень.

— Все меня любят — и мать, и отец, и сестры, и на работе... вот только сюда попал — отца избил...

— Как же так?

— А чего он мать бьет?! Голова болит... Пойду полежу маленько...

Я тоже растягиваюсь на койке. Как-то там сейчас мои? Кирилл просыпается в семь часов, Алла сейчас его одевает, варит кашу, кормит... Обычно я прихожу в девять часов утра, а на этот раз не приду... Алла догадается, что меня взяли.

На завтрак — картошка с «изюмом», как шутят сумасшедшие (ее чистят в картофелечистке, которая сдирает кожуру, но оставляет глазки. Так ее и варят, так и подают на стол — вычищайте сами), большой кусок селедки, чашка кофе с молоком, кусочек масла и девять кусков сахара. Сахар надо разделить пополам, половину — в кофе, половину — в карман, на ужин. Масло в кар-

ман не положишь, лопай сразу. В общем, не так уж плохо, только грязно очень: больные неряшливы, а сестрам подтирать за каждым лень, девяносто ведь человек с лишним. Да и не в ресторане ведь, чего привередничать... Неприятно только, когда кто-нибудь чихнет вам в тарелку — гриппозных здесь много, приходится вставать из-за стола раньше времени. Но это я уже забежал вперед, возвращаюсь к первому дню.

— Шиманов, к врачу! — меня вводят в кабинет. За столом сидит круглолицый человек — заведующий четвертым отделением Герман Леонидович Шафран. После первых несущественных вопросов:

— Геннадий Михайлович, как объясняете вы себе, что оказались в больнице?

— Я попал сюда по инициативе КГБ.

— Почему вы так думаете?

— А от меня этого не скрывали в диспансере.

— Ну а что же было причиной? Демонстрации?.. Листовки?..

— Нет, я политикой не занимаюсь, к советской власти отношусь лояльно.

— Ну а что же в таком случае?

— Я бы сам хотел это знать.

— У вас были когда-нибудь столкновения с КГБ?

— В 1967 году меня вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу Буковского*) и Добровольского**).

*) Владимир Константинович Буковский, р. в 1942 г., прозаик, один из организаторов и участников молодежной группы «Феникс» и одноименного журнала («Феникс 1961», см. «Гр а н и» № 52, 1962). Подвергался трижды арестам: в 1962, 1965 и 1967. В последний раз — за участие в демонстрации в защиту Ю. Галанскова, А. Гинзбурга, А. Добровольского и В. Лашковой и против введения ст. 190¹ УК РСФСР. В феврале 67 г. был судим и приговорен к трем годам лагерей. Вышел на свободу в январе 1970 г. Снова арестован. 2. 4. 71. Подробные сведения см. «Гр а н и» 65, 1967; «Посев» 8/1970, 3, 4/1971.

**) См. стр. 113.

— А кто эти люди? Ваши друзья?

— Нет, просто шапочное знакомство. Но у них в записных книжках, по-видимому, обнаружили номер моего телефона.

— Ну и что же произошло на допросе?

— Следователь кричал на меня, ругался матом, давил всячески, чтобы я рассказывал не только про обвиняемых, но и о других своих знакомых. Так что я был вынужден заявить протест... А потом меня выгнали с работы.

— А где вы работали?

— В Военно-инженерной академии имени Куйбышева.

— Кем?

— Сначала стрелком ВОХР, потом старшим стрелком, начальником караула и, наконец, заместителем начальника команды.

— С обязанностями, значит, справлялись успешно?

— Да.

— С людьми тоже ладили?

— Да, у меня были хорошие отношения.

— А в общественной работе участвовали?

— Я несколько лет подряд был профоргом. Редактировал стенгазету. Был «ударником коммунистического труда».

— Но о том, что вы верующий, там не знали?

— Разумеется, я им об этом не говорил.

**) Алексей Добровольский, р. в 1938 г., автор статьи «Взаимоотношение знания и веры», опубликованной в журнале «Феникс 66» (см. «Грани» № 64, 1967). Впервые был осужден в 1957 г. на шесть лет лагерей, вторично — в 1964 (отбывал срок в «психобольнице»), в третий раз — в январе 1967, вместе с Ю. Галансковым (редактором «Феникса 66»), А. Гинзбургом (соавителем «Белой книги по делу Синявского и Даниэля») и В. Лашковой. Был приговорен к двум годам лагерей. Ныне — на свободе. — Р е д .

— Ну а почему же вас выгнали?

— Была команда сверху... Вызвали меня в строевой отдел и так прямо и сказали: «извини, дескать, мы в этом не виноваты... человек ты хороший, но ничего не можем поделать. Тебе надо уходить... сопротивляться глупо — военная ведь организация...» Заставили, короче, подать заявление об уходе по собственному желанию.

— Ну, это они еще благородно с вами поступили. Ну, ладно... А почему вы отказывались явиться в диспансер?

— Во-первых, я считаю себя здоровым и в контактах с врачами не нуждаюсь, это — удовольствие небольшое. Если ж они нуждаются во мне, то пусть сами ко мне и приходят.

— Что ж, логично.

— А во-вторых, я, зная о связях КГБ с психдиспансером, мог предполагать любую провокацию.

— Какую например?

— Например я прихожу в диспансер, меня там хватают и увозят в сумасшедший дом, а потом уверяют меня и моих родных, что со мною случился припадок, я буйствовал, галлюцинировал, но не помню этого по понятным причинам.

— Так, ясно. А теперь скажите мне вот что: у вас ведь много, вероятно, знакомых?

— Да, пожалуй.

— И вы часто встречаетесь, разговариваете?

— Ну естественно.

— О чем же?

— Да обо всем. Легче сказать, о чем мы не разговариваем.

— И бывают разговоры на острые темы?

— Мы стараемся по возможности политики не касаться.

— Я хочу, чтоб вы поняли меня правильно. Я — не следователь, и наша беседа — не допрос. Просто нам не-

обходимо выяснить, что же явилось причиной помещения вас в больницу. Я еще буду звонить в КГБ, узнавать, в чем они вас обвиняют... Но предварительно я должен знать с ваших слов, что могло оказаться поводом или причиной... Вы уже сказали, что относитесь к советской власти лояльно... и я думаю, сказали это искренне... Но советская власть, социалистический строй, конституция СССР — это одно, а те или иные действия властей или каких-либо организаций — другое... Последние могут и ошибаться, как это мы знаем из истории... Верно?..

— Да, конечно.

— Вот в эту сторону я и клоню... Как вы думаете, не мог ли кто из ваших знакомых... которых у вас слишком много... превратно истолковать какие-либо ваши слова?

— Видите ли, люди сплошь и рядом неадекватно понимают друг друга... Но я-то отвечаю лишь за то, что говорю сам, а не за то, как вздумалось истолковать мои слова кому-то еще. Вы сами знаете, как китайцы толкуют марксизм... Неужели, по-вашему, Маркс должен отвечать за то, что сейчас происходит в Китае?

— Разумеется, я с вами согласен... Но эта гипотеза объясняет причину вашего помещения сюда. В КГБ, вероятно, стало известно что-либо из ваших слов, ложно истолкованных: вас там уже немножко знают и, вероятно, не очень любят. Был сделан запрос в диспансер, а в диспансере с излишней поспешностью отреагировали, поместив вас сюда на праздники...

— Я с вами не согласен. Излишней поспешности не было. Наоборот, начало этой истории относится к середине декабря прошлого года, когда мне впервые пришла открытка из психдиспансера. И всё это время КГБ давил на диспансер, требуя принятия каких-то мер, пока, наконец, меня не забрали сюда. Об этом мне открыто сказали в диспансере. Они, правда, говорили еще о каком-то письме-запросе, присланном якобы с работы, но

я не сомневаюсь в том, что запрос был инспирирован тоже КГБ.

— А почему вы в этом уверены?

— А потому, что мне стало известно содержание этого запроса.

— Какое же?

— Примерно такое: товарищ Шиманов является исполнительным, дисциплинированным работником, но водятся за ним некоторые странности: слишком ревниво относится к своей бороде — не хочет сбривать ее, а также несколько замкнут и мало участвует в общественной жизни... Интересуемся: можно ли его допускать к службе с оружием...

Вы понимаете сами, что вряд ли кому придет в голову посылать запрос в психиатрический диспансер на человека только из-за того, что он носит бороду, несколько замкнут и мало участвует в общественной жизни. Но КГБ инспирировать подобный запрос, конечно, может, и это для него даже весьма характерно.

— Ну что ж... На сегодня, пожалуй, хватит. Я все-таки думаю, что особенных неприятностей для вас всё же не будет... В следующий раз мы поговорим обо всем более подробно. В частности, мне надо будет заполнить с ваших слов историю вашей болезни. Пожалуйста, не подумайте, что мы вместе с КГБ собираемся здесь как-то давить на вас... Вы для нас — человек прежде всего больной, которому надо как-то помочь. Именно этим и будут определяться наши поступки.

— Я могу лишь повторить, что не считаю себя больным и протестую против незаконного помещения меня в сумасшедший дом.

— Что касается вашего мнения о себе, то я, разумеется, учитываю его, хотя и не разделяю. А побыть в больнице вам всё-таки придется... Впрочем, совсем недолго. После праздников мы сразу же выпишем вас отсюда. Я даже могу сказать, какого числа... Это будет четвертого мая. Можете в этом не сомневаться. В ле-

чении вы, как я думаю, не нуждаетесь, ведете себя правильно, мыслите логично. Так что уж потерпите здесь до четвертого... Завтра освободится койка — вас переведут с беспокойной половины в самую спокойную палату, там лежат только те, кто готовится к выписке...

— Скажите, пожалуйста, а здесь есть хоть какая-нибудь библиотечка? Без книг здесь совсем тошно.

— Библиотеки у нас нет, но ваша жена может принести вам какую-нибудь книгу. Только одно условие: книга не должна быть религиозной. Что-нибудь почитайте из классики.

На этом закончилась наша первая беседа.

На следующий день — свиданье.

Вся комната заполнена до отказа больными и их родственниками. Вынимаются продукты, распечатываются банки. Больные поглощены едой, их родственники со скрытой печалью наблюдают за ними. Разговаривают далеко не все, — слишком многим нечего сказать друг другу... Но всё-таки шумно: разворачиваются свертки, снова заворачиваются, работают челюсти, сестры кричат через всю комнату, некоторые больные взволнованно убеждают в чем-то своих родных.

Ко мне пришли Алла и мама, и еще одна девушка. Пропускают лишь по одному человеку, приходится им по очереди подходить ко мне. Я рассказываю о том, как меня брали и какая здесь жизнь, а они мне — свои соображения обо всем этом... Время летит слишком быстро — свиданье окончено, и нас, сумасшедших, опять загоняют на свою территорию.

Больничная жизнь продолжается. Меня переводят в палату, где лежат относительно спокойные. Днем можно поиграть в домино, кое-кто сражается в шашки, — других развлечений нет. Я же читаю Тацита и не могу надивиться сходству теперешней жизни с жизнью старинной... Вечером телевизор — раздражающая пустота программы, как будто нас кормят мякиной. Пос-

мотришь-посмотришь да плюнешь. И — к сумасшедшим, всё интереснее: живые ведь всё-таки люди... Вот откуда-то из другого отделения принесли гитару, потрогал ее какой-то пузатый дурак, а затем она зазвенела. И — где санитары?.. Где сумасшедший дом?.. Всё отошло, отступило перед чудом обыкновенной песни, только выпетой из-под самого сердца.

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.

В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна как ангел небесный,
Как демон коварна и зла.

Хотелось подойти к этому пузану и поцеловать руку за песню... Вот тебе и дурак. Голос у Пузана сильный и слух замечательный, но дело не в этом... Есть в его пении — поет ли он о грузинке Тамаре или о Хаз-Булате — какой-то проникающий в душу и щемящий экзистанс русского барачного человека... Никакой талант не объяснишь словами. Это надо увидеть, услышать. Да... Мы, сумасшедшие, санитарки, сестры собирались вокруг Пузана и в эти минуты жили самой полноценной и удивительной жизнью. А потом, через пару вечеров, порвалась струна, затем другая, гитару унесли, а еще через несколько дней выписался и сам Пузан. Но я опять забежал вперед.

На следующий день после свиданья — новая беседа с врачом. Сначала Герман Леонидович спрашивает меня о моем детстве, о юности, о моем обращении к Богу, о пребывании в больнице им. Ганнушкина и последующей жизни. Я ничего не скрываю — какой

смысл скрывать? Вся действительность за меня. А Герман Леонидович записывает с моих слов на казенных листах бумаги. Но что там пишет, на чем делает акцент, мне неизвестно... Затем, закончив с историей моей жизни, он переходит к другой теме, причем предупреждает меня:

— В этой второй части нашей беседы, возможно, будет и кое-что не особенно приятное для вас... Вот вы мне рассказали сейчас, как пришли к религии и стали затем православным. Ну а из чего складывается ваша теперешняя жизнь?

— Ну, прежде всего, я работаю. Причем до последнего времени на двух работах... на шестьдесят пять рублей трудно, имея ребенка. Сами понимаете, домашних хлопот хватает. Ну, хожу в церковь, конечно... молюсь, исповедуюсь, причащаюсь... Когда пост — пощусь... это очень полезно. Вот примерно из этого и состоит моя жизнь.

— Кажется, вы говорили, что друзей у вас много?

— Да, на одиночество не жалуюсь...

— И пользуетесь, вероятно, у них авторитетом?

— Не знаю, я не спрашивал.

— Вот жена ваша говорит, что к вам даже за советами ходят.

— Это она неловко выразилась. Обыкновенное у нас общение... Что знаю — не держу в тайне, а чего не знаю — спрашиваю сам.

— И к вам знакомые только ходят, или незнакомые тоже?

— Бывают и незнакомые, а потом становятся знакомыми.

— И вы со всеми говорите о Боге? Я имею в виду — и с верующими, и с неверующими?

— Когда как... у меня жестких правил нет.

— Но вы, как верующий, конечно, стремитесь приобщить к религии неверующих?

— Да, конечно.

— Ну так вот, Гена... Мы с вами как раз и подошли к существу нашего разговора. Видите ли... то, чем вы занимаетесь, называется религиозной агитацией. У нас существует, конечно, свобода совести и свобода отправления религиозных потребностей. Но свободы агитировать в пользу религии — у нас нет. Подобная деятельность пресекается по закону...

— Всё, что я делаю, Герман Леонидович, находится полностью в рамках закона. Дело в том, что слова «религиозная агитация» можно понимать по-разному... Уже сам факт наличия веры у кого-нибудь можно истолковать как агитацию. Ношение креста — тоже... Всякое исповедание веры тоже нарушает покой атеистического существования, пробуждает мысль и тем самым агитирует в пользу Бога. А если учесть, что у верующего человека все его слова и поступки должны определяться в конечном итоге религией, то получится, что ему и слова нельзя сказать, чтобы тем самым не агитировать. Если бы у нас запрещалась религиозная агитация именно в этом широком смысле, то мы неизбежно пришли бы к попранию принципа свободы совести, что для социалистического государства совершенно недопустимо. Поэтому, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, Законодатель берет слова «религиозная агитация» не в широком, а в узком смысле, подразумевая под ними совершенно определенные деяния. Но вот именно этих-то деяний за мною и нет... Что же касается разговоров о религии за чашкой чая, то ни в одном своде законов вы не найдете их запрещения.

— Я согласен... может быть, вы и не выходите за рамки закона. Но какое это имеет значение? Ведь фактически вы приносите вред существующему режиму, возвращая заблудших овец в Церковь... А режим этот, как вы знаете сами, Гена, довольно жёсток... и он не потерпит подобной деятельности. Вот вы говорите про законы... Да ведь неужели вы не понимаете, что Комитету Государственной Безопасности все законы до...! Я

смотрю на вас — и мне вас жалко, Гена... Потому что вас обязательно раздавят... И слишком малым для вас утешением будет то, что вы — не единственный. Не подумайте, что я пугаю вас... Мое дело — сторона. Понимаете меня? Но я немножко знаю жизнь... сам пять лет работал на Колыме... медицинским экспертом... И мне жаль, что вы готовите сами себе мученический венец... На этот раз, я думаю, вы отсюда выберетесь благополучно... Но в дальнейшем... и, может быть, очень скоро... гораздо раньше, чем вы предполагаете... вы окажетесь здесь опять... Но уже навсегда и — на принудительном лечении.

— Но принудительное лечение допускается только по суду...

— Ну и что ж?.. Устроят закрытый суд... и что вы там докажете? Тем более — вы, человек с таким диагнозом...

— Но ведь не навсегда же меня упекут в сумасшедший дом... В Ленинграде, я слышал, есть медицинская тюрьма — там до двух лет, а в Казани — до пяти...

— Вас кто-то ввел в заблуждение... Дело в том, что суд не назначает срока... Через каждые шесть месяцев вас будет осматривать медицинская комиссия, соответственно подобранная... понимаете меня? И если она не найдет, что ваше состояние улучшилось, то будет оставлять вас для дальнейшего лечения. И так до бесконечности... или, вернее, до тех пор, пока вы не будете уже представлять никакой опасности для общества... Ну, а поскольку вы — человек принципиальный и едва ли откажетесь от религии... то... понимаете сами...

— Н-да...

— Видите ли, Гена... как я сказал уже, мое дело сторона... Я не спрашиваю у вас, как вы намерены жить дальше. Это дело ваше. Но вам надо подумать. Мало того, что вы собственными руками возлагаете на себя мученический венец... вы разрушите жизнь семьи... И ради чего? Сделать-то вам всё равно ничего не дадут.

В этом не сомневайтесь... Ведь перед вами — чудовищная сила. Вас раздавят и не заметят, что раздавили. Нет, мне вас жалко... очень жалко, Гена...

— Ну что ж... Я самовольно на себя мученического венца не надеваю... но и отказываться от него не имею права...

— Нет, вы *хотите* стать мучеником... *хотите*...

Пауза.

— А почему бы вам, основательно всё взвесив, не выбрать путь, на котором можно сохранить и свою жизнь, и свободу, и благополучие семьи?.. Более того — сохранить ядро своей веры? Ведь вам нужно только отсечь от себя по существу второстепенное, что может только погубить вас, не принеся никому ни малейшей пользы.. Ведь имейте в виду, что силы слишком неравные, а в этом случае всякая борьба будет означать лишь самоубийство. А религия как относится к самоубийству? Отрицательно?.. Вот-вот... А впрочем, дело ваше... я не хочу влиять на ваше решение... Хотите погубить жизнь — губите... Но если хотите спасти ее, не отказываясь при этом от своих принципов и сохранив чистоту совести, то я сказал уже, как надо будет построить вам свою жизнь...

Пауза.

— У меня есть один знакомый священник — сосед мой, в одном подъезде живем. Между прочим, довольно значительный человек в Московской патриархии... Образованнейший человек, умница. Ну, ему доверяют, конечно... За границу ездит, в делегациях там всяких... Так знаете, что он мне однажды сказал? «Религия, — говорит, — это одно... а жизнь — совсем другое... и не надо их путать!..» Умница, умница!.. Я могу вас с ним познакомить. Может быть, у вас будут какие сомнения из-за того, что я вам сказал... Он обладает достаточной властью, чтобы разрешить вам то, на что вы не можете решиться сами... Не хотите?.. Предпочитаете, значит, венец?..

Я сижу внешне спокойно, но внутренне съезжившись. Перспективка-то у меня не ахти... А как хороша спокойная жизнь! Спокойно работать, спокойно приходиться домой, не вздрагивать при каждом звонке... Никто к тебе не привязывается, никакие психиатры... Не ходят сестры по соседям, не спрашивают: «Как этот бородач?.. ничего за ним не заметили?.. кто к нему ходит?..» Воспитывать сына, не тревожась за его судьбу, покупать ему интересные книжки, водить в зоопарк, в концертный зал... А вечером приходят друзья... Спокойно разговариваем, смеемся... Если верующие, то можно говорить и о Боге, а если неверующие, то мало ли о чем?.. Но вот из неверующих кто-нибудь спросит меня:

— Геннадий Михайлович, вот вы верите в Бога... Я с уважением отношусь к религии и хотел бы поверить тоже... но не могу! Слишком много творится зла на белом свете... Как же благой и всемогущий Бог допускает это?..

Что мне ответить?.. Объяснить, что наличие зла, причем именно космического, не только не подрывает христианской религии, но, наоборот, именно к ней-то как раз и приводит?.. Но этим самым я могу качнуть человека в сторону веры. Не годится. Могут узнать. Что же ответить?.. Сказать правду?.. Например, так:

— Видите ли... вообще-то я могу рассеять ваше недоумение. Но врачи запрещают мне убеждать неверующих...

Неловко будет, конечно... Но чего не вытерпишь ради спокойной жизни? Ведь главное — сохранить ядро своей веры. Всё это правильно. Но... так говорить будет тоже нельзя. Узнают в КГБ, обидятся на меня — вроде бы я на врачей жалуюсь... Нет, надо будет что-нибудь этак потоньше... чтобы и против своей совести не покривить, и отбить всю охоту у любопытных к расспросам... Скажем, так: он мне про зло — дескать, несовместимо оно с существованием Бога... а я будто

не слышу, будто не слышу... а сам ему про погоду, скажем, или про Пушкина: какой поэт был!.. гений, гений!.. какую жизнь прожил — сложную, удивительную, глубокую!.. изведаль и сладость, и горечь жизни, начал с вольтерьянства, а пришел к религии, умер христианином! Гм, гм... опять религия... О чем ни начинай разговаривать, уж если ты верующий, то любая дорога все равно приведет тебя к Богу... «Вот она — мания-то!.. Вот он — бред-то религиозный!..» — скажут врачи. Да... невежды они, это правда... но зато у них сила... и энергичное руководство... Нет, уж лучше просто вытолкать собеседника в шею:

— Уходи, гад, не тревожь ты мою душу! Мне ядро своей веры хранить надо!

... — Вы думаете, вы единственный такой? — доносится до меня голос Германа Леонидовича. — Как бы не так... Знаете, может быть, такого режиссера — Галича?

— Слышал.

— Так вот у этого Галича есть хобби: он сочиняет песенки и поет их под гитару. Скажу я вам, есть песенки довольно острые... приятно послушать. Да... популярность его, пожалуй, несколько превосходит вашу... Ну, вызывают его, естественно, в КГБ... вежливо так, деликатно... Чашечку чая предлагают... и, помешивая чай ложечкой, говорят: «Товарищ Галич... мы слышали ваши песенки... И знаете?.. ничего против них не имеем... Пойте их, как и прежде... если уж вам так хочется петь. Но только одна просьба: не надо их записывать на магнитофон... а то могут быть всякие неприятности...» И что бы вы думали? Поет по-прежнему Галич! Но только, когда приходит к знакомым и собирается петь, предупреждает: «Выключите, пожалуйста, магнитофон... ну его к лешему... Выключите, а то не буду петь...» Каково? А? Ну, ладно... Я тут с вами заболтался, а у меня ведь дел невпроворот...

Герман Леонидович отпирает дверь, выпуская меня из кабинета. Я говорю ему:

— Герман Леонидович... а бес-то лукав...

Шафран вскидывает на меня глаза, мгновение смотрит, а потом начинает хохотать, несколько запрокинув голову:

— Это я-то — бес?!

— Да нет, что вы... я не про вас... я про настоящего...

Возвращаюсь в палату, еще не закончился мертвый час... Плюхаюсь на свою койку. Спящих почти никого, но в палате тихо; лишь в углу у окна мой сосед все смеется, не может никак успокоиться. На него уже никто не обращает внимания, все привыкли к его почти постоянному смеху, — центры у него какие-то там в мозгу пошаливают. Скучно... Но вот раздается бас:

— Скучно, братцы, что-то... Анекдот бы загнул кто...

— Анекдот? Это можно... Слушайте: вот поехал Василий Иваныч Чапаев в военную академию имени Фрунзе поступать. Да... Возвращается мрачный, разговаривать ни с кем не хочет. А Петька всё пристает к нему: «Ну как, Василий Иваныч, сдал или не сдал?» Да... А Василий Иваныч только вздыхает и отворачивается. Наконец, не выдерживает и тоскливым таким голосом говорит: «Мочу, Петька, сдал. Кал тоже сдал. А математику... математику... не сдал...»

— Га-га-га! — гогочут больничные рожи, трясутся на своих койках, долго не могут успокоиться. А отсмеявшись, переходят к другим анекдотам.

В палате пятнадцать человек — у каждого свой характер, своя болезнь. Есть здесь два или три эпилептика, остальные шизики, алкаши, кретины и еще всякая всячина — какие-то путешественники, правдолюбцы, подследственные...

Мертвый час закончился, из коридора уже доносится молодецкое пение Волгина-Сталина-Сырова:

Ах ты, сорока-белобока,
Ты научи меня лета-а-ать!..
Ах, не высоко, не далеко..
А только к милой на кровать!..

Ходит он по коридору, обнявшись с каким-то парнем, и своим пением прельщает сестер. Попоеет-попоеет, а потом подойдет к какой-нибудь и будто невзначай проведет ей рукой по бедру. А те уж привыкли к нему, лениво отмахиваются.

— К-х-х!.. — разрывается у меня над ухом; но я уже не пугаюсь. Это пробегает тот самый, с дегенеративным лицом, неряшливый... Вот он идет почти спокойно, а вот надувается, напрягается весь, лицо его краснеет и — к-к-х-х!.. — раздражается он могучим звуком, снимающим напряжение. А через несколько минут — опять всё сначала. И так он ходит, почти бегаёт по коридору, трубя по полчаса, а то и больше, по несколько раз в день. А иногда он на бегу поднимает руку, как оратор, и изо рта его выскакивают обрывки фраз: «не имеют прав!», «товарищи!..», «время истекает...»

Молча ходит по коридору с выразительным, очень одухотворенным, но каким-то остановившимся лицом высокий черноволосый юноша, сын какого-то генерала. Тонкие длинные пальцы музыканта. Иногда он действительно открывает крышку пианино и делает несколько тактов... Он онанист.

А вот лежит один на кровати и время от времени ревет. Руки его связаны, на лице проступил пот, он в бреду.

А вот другая кровать. Человек сидит и разматывает спутавшийся клубок ниток. Нам эти нитки увидеть нельзя — мы слишком здоровые, — но он видит их ясно, и движения рук его удивительно точны. Мы стоим вокруг него и пробуем ему подражать, — получается нестерпимая фальшь, а у него так естественно, что порою кажется, что и впрямь в его руках нитки.

Ах ты, сорока-белобока... Да... Хорошо бы улететь отсюда на какой-нибудь остров... необитаемый... в теплом море... хижину построить, рыбу ловить... Чтобы Алла там была и Кирилл... и все наши... Ну, не все, а кто захочет... Да... Сказка... А вот действительность — наука, врачи, КГБ, сумасшедший дом. Тоже как сказка.

— А вы священник? — около меня стоит человек со страдальческими глазами.

— Нет.

— А я думал, вы — священник... Я слышал, вы молитвы поете...

— Нет, я просто верующий.

Мы знакомимся.

— А я тоже в церковь хожу, — говорит он. — Раньше я не был верующим, а потом в меня сатана вошел.

— Сатана? Как это?..

— Во сне. Мне приснилась женщина... с короткими черными волосами... У нее были очень страшные глаза. Я как увидел ее, так весь оцепенел... А она подошла ко мне и на меня легла... и стала входить мне в глаза... Я от ужаса закричал!.. и проснулся... а когда проснулся — она уже была во мне и кричала моим голосом... Мне плохо очень было... И сейчас она меня часто мучит... Ой, Гена, как мне тяжело, если б вы знали... Это ведь бес... Он говорит моим голосом, когда хочет... и знает мои мысли... и всему меня учит...

— Чему же он учит?

— Ой, Гена, я раньше этого не знал, а теперь вижу: во всех людях есть бесы. В редком-редком его нет. А они не знают этого... Думают, что сами говорят или делают что... а это бес их...

— А что же эта женщина говорит вашим голосом?

— Ой, Гена, разное... «Поживу в тебе, домовой!..» — так она в первый раз кричала... Уж я молился... Гена, как я молился, чтобы Господь избавил меня от нее!.. Целыми почти днями стоял на коленях... Всё по-преж-

нему... Меня и священник отчитывал — ничего не могло... Значит, так мне и суждено с нею мучиться...

Как-то перед первомайскими праздниками во время обхода (обходы не каждый день) Шафран подходит ко мне:

— Ну, из КГБ насчет вас еще не звонили... Видно, они не считают ваше дело актуальным. Будем ждать дальше. А жалко мне вас... Мученик вы мученик... Сами на себя надеваете венец...

Второго мая Алла сообщает мне, что четвертого, как обещал мне Шафран, меня не отпустят. Якобы главврачу больницы им. Кащенко позвонили из КГБ и сказали меня до десятого не выпускать, — так передал ей Герман Леонидович, у которого она только что была.

Ну, что ж... Как-то она там справляется со своим дипломом? Иногда приходят знакомые и сидят с нашим Генмишонком, но этого слишком мало. Надо вылезать отсюда как можно скорее, чтобы помочь Алле. Что он там говорил, этот доброжелательный волк?.. Надо отказаться от проповеди? Ну что ж... я откажусь — эти два месяца я всё равно слишком занят. А там — поживем-увидим... С волками жить — по-волчьи выть... Иногда и так приходится. Да. У меня нет другого выхода: надо написать отчет обо всем, что со мною здесь было, а там — делайте со мной, что хотите...

Через несколько дней, числа пятого или шестого, новый обход, на этот раз во время мертвого часа. Герман Леонидович подходит к моей койке, дотрагивается до моего плеча:

— Ну, как?.. ты подумал, о чем мы говорили? На днях будет обсуждаться вопрос о том, что с тобою делать — выписывать или лечить. Лично я буду настаивать на выписке, так как считаю, что никакими лекарствами твоего образа мыслей изменить нельзя. Но, к сожалению, мое мнение не является решающим...

Он перешел уже со мною на «ты» — чего церемониться?.. Но, разумеется, в одностороннем порядке: мне к нему обращаться на «ты» неприлично — как-никак он заведующий отделением. Получится дерзость. Что ж... Мне не до гордости, мне вылезать отсюда надо...

— Герман Леонидович, я все эти дни много думал над тем, что вы мне сказали... и не сразу пришел к решению... Я не буду вас уверять, что по доброй воле выбрал это решение, но обстоятельства, по-видимому, таковы, что я вынужден его принять. Я чувствую, что мне придется отказаться от того, что вы называете «религиозной агитацией».

— Но ты понимаешь, что если говоришь это только для того, чтобы выйти отсюда, то очень скоро опять окажешься здесь?

— Да, я понимаю и надеюсь, что здесь больше не окажусь.

— В таком случае ты должен повторить это, и достаточно твердо, во время беседы, которая состоится на днях у заместителя главврача с тобой. Твое желание изменить свою жизнь может повлиять на решение врачебного совета...

Через день или два снова меня вызывают в кабинет Шафрана. Вхожу. За столом сам Шафран, в разных концах комнаты — два врача, работающие в четвертом отделении под его началом: Николай Павлович и Майя Мержидовна; и какая-то неизвестная мне женщина средних лет в белом халате. Я здороваюсь, мне никто не отвечает. Неизвестная женщина обращается ко мне:

— Геннадий Михайлович, как вы себе объясняете, почему вы оказались в психиатрической больнице?

— Я прежде всего хочу знать, с кем я разговариваю.

— Старший врач больницы им. Кащенко.

— Благодарю вас. Я доставлен в больницу по указанию КГБ.

Мой ответ ей не нравится:

— Кто это вам сказал, что по указанию КГБ?

— От меня этого не скрывали в психдиспансере.

Молчит. Крыть ей, конечно, нечем. Ну и дадут же там, в диспансере кому-то по шапке! Разве можно так откровенничать? Надо беречь государственную тайну. Халтурщики... Лишь бы сбить побыстрее к нам в больницу, а мы тут расхлебывай... Спешат, халатничают, а слово-то не воробей — теперь уже не поймаешь. И в путевом листе записали про «активную религиозную деятельность», и что «социально опасен», и в приемном покое отметили про КГБ. Ну, бумажки-то можно заменить, это не проблема... А вот что из особого отдела приезжали к нему на работу и все это видели — как тут быть? Коллективная галлюцинация? Бывает и такое... Но до чего всё же грязная работа... Живем-живем, учимся, трудимся, а все даже видимость правопорядка создать не умеем. Безобразие.

Старший врач спрашивает меня о том, как я себя чувствую сейчас и все эти годы после Ганнушкина; какие отношения в семье? на работе? с соседями? знакомыми? Придаться ко мне ни в чем нельзя — отношения со всеми хорошие, чувствую себя прекрасно. Правда, в сумасшедшем доме мне не очень нравится жить, но, я думаю, это естественная реакция здорового человека...

— Здесь не сумасшедший дом, а больница. Сумасшедшие дома раньше были: там не лечили. А мы лечим, — возражает она.

— Ну, меня-то, положим, вы здесь не лечите, а лишь держите под арестом. К тому же Герман Леонидович мне сказал, что мой образ мыслей нельзя изменить никакими лекарствами. Наука еще не дошла до этого...

Герман Леонидович ёрзает в своем кресле. Эх, Гер-

ман Леонидович! Вот как она, фамильярность-то с больными боком выходит... А теперь вот краснеть приходится...

Разговор явно выходит из намеченной колеи. Но и мне-то артачиться особенно нет смысла. Наоборот, надо показать, что я немножко напуган.

— Расскажите, пожалуйста, каким образом вы пришли к вере в Бога.

Я уже в который раз повторяю свою историю.

Кому приходилось бывать в сумасшедших домах или психиатрических диспансерах, те знают: врачи здесь народ дошлый, с ними ухо держи востро: чуть зазевался, разоткровенничался, они тебя — хватя! Ага! попался! — и на бумагу. Размалюют тебя так — родная мать не узнает... А что на бумаге написано, того, как известно, не вырубешь топором. Но я уже вляпался в психиатрию, и скрывать мне что-либо уже нечего. Стараюсь лишь точно и по возможности доступно для невежественных умов объяснять интересующие их вопросы. «Точно» — потому что они готовы ухватиться за любое слово, за любое предложение, если его хоть с натяжкой можно истолковать как признак болезни. Я говорю о недоступных для них вещах: о бессмысленности обезбоженной жизни, о ее трагизме; и в глазах врачей подмечаю некоторый интерес: ведь всё это можно истолковать как распад сознания (см. любой учебник психиатрии). Чтобы пояснить свою мысль, я начинаю говорить о Шекспире, Толстом, Достоевском, Пушкине, — врачи морщатся, всё это «не то, не то»... Вопросы задаются так, что в них без труда обнаруживается простодушная жажда услышать и зафиксировать «то, то самое», чего я лишен и что так стараются навязать мне мои эскулапы. У меня во время этих бесед почти физическое ощущение того, что они напрягаются в желании втиснуть меня в какую-то понятную им самим схему, а я не влезаю в нее и не хочу влезать, потому что она не по мне сделана, и это внутренне раздражает

врачей, как всякая неполучающаяся работа. Но всё-таки какую-нибудь «легенду» они обо мне состряпают, это без всякого сомнения. Какой же иначе я — больной, а они — врачи?..

Но вот вопрос о приходе к вере мы исчерпали. Старший врач еще интересуется: проводятся ли у меня дома богослужения?

— Нет, — отвечаю я, — только обычные домашние молитвы.

...Но откуда у них такие сведенья? Соседей спрашивали? Или топтуны стояли под окнами? Мы с Аллой любим петь «Отче наш», «Символ веры», «Воскресение Христово видевше», «Не имамы иныя помощи» и другие православные песнопения, поем их по случаю или без всякого случая. Может быть, их приняли за богослужение?.. Или — пластинки у нас есть: хор Юрлова исполняет старинные христианские песнопения, мессы Баха, Моцарта... Может быть, не разобрались?.. В окошко-то ведь не заглянешь — живем на третьем этаже, а слышно подозрительное что-то. А теперь, стало быть, уточняют.

Как там писал Ильф в записных своих книжках? Тяжело, дескать, жить в краю непуганных идиотов?.. Эх, милый! А идиотам-то с нами легко ли?..

Неожиданно в отделении появился проповедник. То есть он и раньше был здесь, но всё молчал, не выделялся из массы больных; а тут вдруг заговорил.

— Вы верите в Бога? — спросил его кто-то, — верите во Христа?

— А Христос это кто? Мужчина? Мужчина! Стало быть, бог! А всякая женщина — богиня! Они думают, что вы дрянь, — ружья суют вам в руки, пулеметы, пушки!.. Самолеты придумали, ракеты, атомные бомбы — идите, стреляйте, убивайте своих братьев, убивайте богов! А я им говорю: не позволю! Я запрещаю вам! Парад я уже отменил... К чему это? «За мир, за мир,

разоружайтесь!..» — а сами на площадь ракеты, танки, пулеметы... Опять воевать? Не позволю! Скрутить, изнасиловать, ограбить... О! этим к коммунизму не придешь! Нет, не придешь!.. А надо — что? Всё это уничтожить — раз! Пушки, самолеты — в переплавку, армии распустить... Пусть американцы, французы приходят к нам — это братья! Зачем воевать? Что они — дурнее нас? А они меня хотят убить! А я бессмертен!.. Меня уже убивали! Тысячу раз!.. А я снова воскрес! Я — старше Маркса!.. Нас — много! Мы — победим! Мы понаделаем автомобилей из ваших «катюш»!.. Каждому — автомобиль! Каждому — самолет! Вот это будет коммунизм!.. А то — пушки, ракеты!..

— Сначала империалистов уничтожить надо... а затем уж наступит коммунизм, — поправляет его кто-то.

— Вы слышали? Вы слышали, что он сказал? — возмущается пацифист. — Вот так и Гитлер кричал! Сначала весь мир завоюем, а уж потом сделаем всех счастливыми!..

— Да! — не сдается тот. — Только так! Локальными войнами!.. Лишь уничтожив империализм... можно уничтожить войны! Так написано...

— Слышали!

— Лапоть!

— Вколоть ему четыре кубика!

Большинство сумасшедших явно на стороне пацифиста. А тот, грозно вращая очами, торжествует над опозоренным врагом:

— Вот из таких холопов они и составляют себе армии! Сумасшедшие!.. Весь мир залили кровью!..

— Правильно говорите! Точно! Все войны... из-за евреев! У-у, жидовская морда!.. Русские должны быть братьями! — поддерживает пацифиста один деревенский парень — Сережа, добрейший человек, верующий, страдающий галлюцинациями.

— Причем здесь евреи?.. — Пацифист слегка опешил. Потом, придя в себя, заговорил снова:

— Нет, Сережа, ты не прав... Евреи тоже наши братья... Если б ты знал, как они страдали в Ессентуках!

Сережа мнется некоторое время, он смущен и не знает, что делать: думал ведь сказать как лучше... Но потом все же сдаётся:

— Ну, простите меня, — говорит он своему учителю, благоговей перед ним ужасно.

Постепенно собрание тает, разговор утихает, сильнее слышны удары костяшек домино.

Вечером в палате разговор:

— Она мне так и говорит: «Ты, говорит, Володя, если я старая для тебя, гуляй с кем хочешь, но только так, чтобы я об этом не знала...»

— Га-га-га!..

— Умная баба!..

— А мне что? — продолжает рассказчик, — она меня кормит, поит, бельишко мое стирает... А то бы я стал с нею жить! Раз в неделю вѣхожу ее хорошенько — ей и хватает. Ведь ей уж за сорок, климакс вот-вот... А молодую-то я всегда найду себе. Да не какую-нибудь... свеженькую! Чтоб всё при ней было!

— А на сколько же она тебя старше?

— На тринадцать. Мне двадцать восемь, а ей сорок один. А так, ты думаешь, она бы стерпела? Чёрта с два! Просто на нее, старую ведьму, никто уже не полезет.

— Ну да, не полезет... — сомневается кто-то.

— Вот ты полезешь, скажи честно?

— Я-то?.. а чего ж? полезу...

— Га-га-га!..

Маленький мужичишка, попавший в сумасшедший дом по пьянке, почти танцует около окошка, всё время выглядывая в него, — не идет ли жена? Сумасшедший дом осточертел ему до невозможности, его уже выписывают, а жена всё не идет и не идет... Иногда он

не выдерживает и дрожащим, чуть не плачущим голосом раздражается на всю палату:

— А моя-то блядь всё не идет и не идет!..

— А ты, Миша, не волнуйся, — утешают его товарищи. — У тебя друг-то, небось, есть?

— Есть, — отвечает простодушно Миша, — Колька Просвириин.

— Ну, вот. Значит, она с этим Колькой и занимается...

— Наверно, — соглашается дрожащим голосом Миша.

— Да она и отправила его сюда, чтобы дома не мешался, — подхватывает еще кто-то. — Ясное дело, а то зачем же?..

В травлю включаются всё новые шутники.

— Так она и не придет за тобой, Миша, ты напрасно расстраиваешься. Она еще недельку, а то и месяц погуляет с ним, надо думать...

— Конечно, — поддерживают другие. — Что она — дура?

— Так они в две смены работают, — начинает возражать Миша. — И так, если захотят, найдут время...

— Нет, Миша, ты не прав. Так им гораздо спокойнее. Ведь они же знают — отсюда убежать нельзя. А что за удовольствие — в спешке да в тревоге?..

— Это верно, — соглашается Миша, почти плача.

— А ты, друг, не переживай. Что с нее — убудет, что ли?.. К тому же и совесть надо иметь — другу твоему тоже, небось, хочется...

— Да! Друзья! — кричит Миша. — Как водку пить, так друзья?! А водка кончилась, пошел к ...? — Миша на всю палату ругается.

Через некоторое время приходит жена, и он исчезает из сумасшедшего дома.

В субботу десятого мая — разговор с заместитель-

ницей главного врача больницы им. Кащенко Масляевой, в присутствии Шафрана. Я захожу в кабинет, усаживаюсь на предложенный мне стул.

— Скажите, Геннадий Михайлович, что это вы бороду отпустили? Для этого была какая-нибудь причина или не было никакой?

— Да просто мне так нравится.

— Скажите, пожалуйста! Вы что же — стилияга?

— Разве я похож на стилиягу?

— Вот и я думаю: на стилиягу вы вроде бы не похожи, а бороду отпустили.

— Это для красоты. Моей жене так больше нравится.

— Кому же все-таки нравится: жене или вам?

— И мне и жене тоже.

— Что же, когда вы поженились, у вас уже была борода?

— Нет, тогда еще не было.

— Значит, жена полюбила вас без бороды? Но тогда совсем непонятно... Если вы нравились ей без бороды, то зачем же отпускать было бороду?

— Чтобы еще больше нравиться.

Пауза.

— Геннадий Михайлович, вы ведь не в первый раз в психиатрической больнице?

— Я был в Ганнушкина в 1962 году.

— И с тех пор больше не были?

— Нет.

— А каким образом вы попали туда?

Я кратко объясняю обстоятельства.

— Ведь вы уже были верующим тогда?

— Да.

— Но почему же вы обманули врачей? Разве у вас нет заповеди «не лгать»?

— Есть, конечно. Но в то время я был еще язычником почти во всем, и вера только проклюнулась во мне, но еще не изменила моего образа жизни. Я имен-

но затем и лег в больницу, чтобы подумать на досуге о согласовании моей жизни с верой.

— И все-таки это возмутительно!.. Неужели вам не стыдно?

— Конечно, мне стыдно. Но все-таки я думаю, что если бы этот грех был самым большим грехом в моей жизни, то я был бы святым.

— Вот мы, атеисты, почему-то не обманываем никого, а у вас, верующих, это сплошь и рядом.

— Я позволю себе не согласиться с вами. Я не буду далеко забегать назад, а коснусь лишь вот этой истории с помещением меня в сумасшедший дом. В первый раз меня обманули, когда сказали, что никто меня не собирается класть в сумасшедший дом, что мне нужно всего лишь в течение десяти минут поговорить с врачами.

— Но ведь это же не врачи вам сказали.

— Это сказали атеисты. А затем меня стали обманывать и врачи. Сначала они сказали, что кладут меня всего лишь на несколько дней; затем Герман Леонидович уверил меня, что четвертого мая я обязательно буду дома, затем он перенес эту дату на десятое, то есть на сегодня. И я не знаю, сколько раз вы будете обманывать меня еще.

— Значит, по-вашему выходит, что мы — квиты? — смеется Герман Леонидович.

— Нет, мне кажется, что пальма первенства по обману в ваших руках.

— Гм, гм...

После некоторого молчания:

— Геннадий Михайлович, вот вы сказали нам, что у вас есть грехи и потяжелее обмана. Значит, вы — грешник?

— Разумеется.

— Но ведь религия, как я понимаю, учит стремиться к святости?

— Да.

— И вы тоже стремитесь?

— Да, по мере сил.

— И вас кто-нибудь уже считает святым?

— Никто не считает, да и не за что.

— Но могут в будущем считать?

— Не думаю.

— Но почему же?.. Ведь вы человек, как я понимаю, глубокой религиозной веры, пользуетесь уже сейчас некоторым авторитетом, стремитесь к святости, — почему же вы не можете стать святым?

— Таких, как я, тысячи, если не миллионы, а святых — единицы.

— Ну а почему бы вам не стать этой единицей?

— Рад бы в рай, да грехи не пускают.

Не нравятся, нет, не нравятся мои ответы врачихе, — я это вижу по ее лицу. «Как же поймать этого шизофреника?..» Наконец, она спрашивает с хитрым лицом:

— Ведь у святых бывают видения, им является этот... как его?.. Христос?..

— Да, бывают, но очень редко. Гораздо чаще у людей бывают галлюцинации, то есть не подлинные видения. У меня же не бывает ни видений, ни галлюцинаций, — в этом отношении я совершенно бездарен.

— Вы, что же, считаете себя неполноценным?

— Нет, почему же. Просто я такой же, как и все, как подавляющее большинство.

— Нет, Геннадий Михайлович, если бы вы были таким, как все, мы бы вас здесь не держали. Вы вот сколько уже дней находитесь здесь?.. Разве вы видели здесь хоть одного нормального человека? Вот видите. Ну, ладно... Расскажите теперь, пожалуйста, о вашем, как вы называете, «обращении к Богу»...

После краткого моего рассказа:

— Видите ли, Геннадий Михайлович... всё, что вы нам рассказали сейчас, подтверждает нашу мысль о том, что в основе вашего «обращения» лежит болезнь. Вы сами этого, конечно, понять не можете, но уж по-

верьте нам, специалистам. Если бы вы воспитывались в религиозной семье или жили где-нибудь там, на Западе, — ну, тогда еще можно было бы как-то понять вашу религиозность. Но вы ведь воспитывались в советской школе, в неверующей семье... Вы — человек образованный, я допускаю даже, что в философии и религии вы разбираетесь лучше меня. И вдруг — нá тебе! Религия!.. Это ни в какие ворота не лезет... и заставляет думать, что еще в юности в вас развились какие-то ненормальные процессы, которые впоследствии привели вас к религии...

Я возражаю:

— В последнем номере «Литературной газеты» напечатано интервью митрополита Никодима — не читали?..

— Нет, а что?

— Вот этот самый Никодим воспитывался тоже в советской школе, в атеистической семье, даже, кажется, в семье какого-то крупного партийного или советского работника... Учился в институте, изучал диамат... и вдруг — нá тебе! — объявляет о своей вере в Бога, бросает со скандалом институт и поступает в духовное учебное заведение. А теперь — второе лицо после патриарха... Так вы думаете, он — тоже шизофреник?..

— Вы про себя говорите, — нас митрополит Никодим в настоящее время не интересует. Вот скажите, каким это образом вы совмещаете свою религиозную веру с жизнью в советском обществе. Ведь это, так сказать, прямо противоположные вещи.

— Как совмещаю?.. Очень просто. По конституции у нас допускается свобода совести...

— О да, да, конечно...

— Ну так вот: я и пользуюсь этой свободой.

— Да нет, я не о том...

— В таком случае я не понимаю вас. Объясните мне ваш вопрос получше.

— Ну как же!.. Ведь всё наше общество построено

на марксизме, а марксизм и религия взаимно исключают друг друга. И вот я спрашиваю: как же вы живете в нашем государстве, которое исключает религию?

— Вы, как мне кажется, путаете разные вещи: государство и идеологию. Марксизм действительно отрицает религиозные истины, но государство, даже и построенное на принципах марксизма, допускает свободу совести для своих граждан.

— Да нет, я не о том... Вот как же вы живете в обществе, совершенно враждебном религии? Как вам удастся совмещать свою собственную жизнь, построенную на религиозных принципах, с принципами общества, диаметрально противоположными всякой религии?

— Да примерно так же, как и всем остальным верующим в Советском Союзе... Если вас очень интересует этот вопрос, обратитесь в Московскую патриархию, — они там более компетентно ответят.

— Нас не интересует Московская патриархия. Мы хотим знать, как именно *вы* совмещаете свою жизнь с принципами общества.

— Да очень просто: работаю, получаю деньги; прихожу с работы, бегу в магазин, покупаю там хлеб, молоко, масло... никто меня там о религии не спрашивает. Затем отдыхаю, занимаюсь воспитанием сына. Ну, на трамвае езжу, в метро... опять меня никто о религии не спрашивает... А если бы и спросили — почему не ответить? Чего мне бояться? Религия у нас пока еще не запрещена. Так что никакого особенного конфликта с обществом я не ощущаю.

— Ну как же так? Все советские люди верят в марксизм. Ведь марксизм — это научная философия... Вы согласны?

— Я не считаю марксизм наукой.

— Как так?.. Марксизм — не научная теория?.. Вот это новость!

— Согласитесь сами, что если бы я считал марксизм научной истиной, то я не был бы христианином.

— Но ведь вы все-таки признаете за марксизмом какое-то значение?

— О, разумеется.

— Так что же такое, по-вашему, марксизм?

— Одна из многочисленных утопий.

— Вот это да!.. Да вас за такие мысли...

— Но согласитесь: если я не могу считать марксизм научной истиной, то не остается ничего другого, как признать его утопией.

— Гм, гм... Вот всегда у вас так: по внешности вы очень логичны, а по существу ведь это бред. В основе всей вашей логики лежит болезнь.

— Я могу лишь повторить вам, что считаю себя психически вполне здоровым.

— Вы не можете отнестись критически к своему состоянию.

— Но здоровым меня считают жена, мать, знакомые.

— Они не специалисты. Болезнь может определить только врач.

— Но болезнь ведь должна в чем-то проявляться.

— Она и проявляется у вас в одностороннем увлечении религией. Вы оторвались от жизни. Ведь как себя ведут здоровые верующие? Забежала какая-нибудь тетка в церковь, перекрестилась и — дальше по своим делам, а о Боге уж и забыла. Такие у нас еще есть, но со временем их становится всё меньше. А у вас ведь совсем другое. Вот это нас и беспокоит.

— Согласно церковному учению вера действительно должна стоять во главе всего и определять всю жизнь человека. Так что плохие, стало быть, верующие те тетки, о которых вы говорите.

— А вы, значит, хороший?

— Во всяком случае, я стараюсь им быть.

Пауза.

— Так как? Могут вас признать святым окружающие вас люди?

Глупость этой бабы мне уж порядком надоела. Но — спокойно, спокойно... Я отвечаю вежливо:

— Не знаю... Может быть, какой дурак и найдется... Но только среди моих знакомых, по-моему, нет дураков.

После некоторого молчания:

— Скажите, Геннадий Михайлович, а у вас ведь много знакомых?

— Да, порядочно.

— И что же — все верующие?

— Нет, почему же. Есть и верующие, есть и неверующие.

— И вы, что же, — собираетесь, значит?

— Да, приходят ко мне в гости, бываю и я в гостях.

— И устраиваете собрания?

— Просто сидим за чаем и болтаем обо всем, как это бывает, вероятно, и у вас.

— Ну, ко мне-то если и забежит кто раз в месяц, — и то хорошо... А ведь к вам-то приходят часто... И о чем же вы говорите — о Боге?

— И о Боге тоже.

— Вот вы сказали, что у вас и неверующие бывают... Но ведь их, вероятно, все-таки меньше, чем верующих?

— Да, меньше... Хотя мы и не признаем разделения по религиозному принципу, но все-таки получается так, что верующие оказываются в большинстве.

— И вы неверующих, вероятно, стараетесь привлечь к вере?

— Да, конечно.

— Спорите с ними? Ведь в спорах, как утверждает марксизм, рождается истина. Вы согласны с этим?

— Как вам сказать... Истина в спорах рождается очень редко, гораздо чаще она закрывается страстями и ожесточением. Поэтому мы не возлагаем особых надежд на победы в спорах.

— А как же вы проповедуете?

— Да вот перекрещусь перед иконой — это гораздо убедительнее для тех, кто ищет веры... А тех, кто не ищет, — все равно ничем не убедишь.

— И вы устраиваете дома богослужения?

— Что вы имеете в виду?

— Ну, молитесь все вместе.

— Да. Перед едой по православному закону нужно помолиться. А также утром и перед сном.

— Перед едой крестятся, а не молятся.

— Я вижу, вы православие знаете лучше меня.

— Не лучше. Но что крестятся, а не молятся, — знаю точно. Ведь это баптисты устраивают собрания и богослужения в домах... Поэтому у нас и возникают сомнения. Вы утверждаете, что вы — православный, а ваш образ жизни говорит о другом.

— А вы справьтесь в Московской патриархии: православный ли это обычай, принимая гостей, помолиться перед едой? Или пригласите какого-нибудь эксперта по православию... А то сами не знаете ничего и гадаете на кофейной гуще: православный он?.. или баптист?..

— Ну, ладно. Мы в этом еще разберемся. А теперь ответьте мне все-таки на вопрос: как удастся вам примирять совершенно непримиримое — религиозную веру с атеистическим обществом, в котором вам приходится жить?

— Я вам ответил уже, что никакого конфликта с обществом я не ощущаю.

— Как же так?.. Все советские люди — марксисты, все признают лишь научную философию, а вы верите в Бога, находитесь в разладе с обществом...

— Позвольте вам возразить. Я не первый день живу на белом свете и знаю, что подавляющему большинству людей нет никакого дела ни до марксизма, ни до какой-либо другой идеологии. Они живут чисто эмпирической жизнью. А из людей, интересующихся философией, тоже далеко не все принимают марксизм. Смею даже думать, что таких — непринимających —

большинство. И лишь в силу того, что марксизм является официальной доктриной нашего государства, создается видимость всеобщего признания этой идеологии.

— Ну-ну-ну!.. Вы так не знаю до чего можете договориться!.. Во-первых, если большинство наших людей и не знает, может быть, достаточно хорошо марксистской философии, но зато они по крайней мере верят в нее! А отрицать... Отрицать могут только наши потенциальные враги... И нечего их считать за советских людей — это разложившиеся люди, с которыми надо бороться. Вот и религия... Она может быть сравнительно безобидной, если идет на убыль, если умирает... А если она переходит в наступление, если она вербует всё новых и новых членов, это уже социально-опасное явление... Ведь мы строим коммунизм, воспитываем людей всё более сознательными... а вы разлагаете их!

— А вы знаете мнение европейских коммунистов на этот счет? Они считают, что напрасно в Советском Союзе ведется борьба против религии, потому что религия будет существовать и при коммунизме.

— Религия — при коммунизме?.. Ха-ха-ха!.. Я что-то об этом нигде не читала! Откуда у вас такие сведения?

— Если вы сомневаетесь, наведите справки. В частности, такова официальная позиция итальянской коммунистической партии.

— Любопытно... Но вернемся, однако, к делу. Вследствие своей болезни, Геннадий Михайлович, которая началась у вас еще в юношеском возрасте, вы стали опасным для общества человеком. И вас надо немного полечить... в интересах общества... а также и в ваших собственных, разумеется, интересах...

— Вы хотите сказать, что намерены принудительно лечить меня?

— Ну почему же обязательно принудительно?.. Я думаю, вы сами сознательно отнесетесь к этому...

— Нет, я согласия на «лечение» не даю.

— Видите ли, вы не можете критически относиться к своей болезни, поэтому ваше мнение не имеет решающего значения.

— Но против «лечения» будут протестовать моя жена и моя мать.

— А они в медицине тоже не разбираются, и мы не нуждаемся в их согласии.

— Но по закону принудительное лечение допускается лишь по решению суда.

— Это особые есть больницы для таких случаев. А у нас больница простая, и решение суда здесь не требуется.

— Что ж... сила на вашей стороне... Но я заявляю, что буду протестовать против подобных опытов самым решительным образом!

— Каких таких «опытов»? Мы опытов не проводим, мы будем лечить вас.

— Нет, вы проводите опыт... опыт запугивания и травли инакомыслящих!

После некоторого молчания:

— Так каким же образом вы намерены протестовать?

— Я буду протестовать всеми доступными мне средствами. А для начала я объявляю вам, что если сегодня или завтра вы не освободите меня...

— О! Вы нам ультиматумов не ставьте!

— Нет, вы выслушаете меня... Если вы не освободите меня сегодня или завтра, то в понедельник с утра я объявляю голодовку. И можете быть уверены, что слово мое — твердо.

— И что вам эта голодовка даст? Что вы докажете?

— Неважно! Может быть, ничего не даст. Но это все же лучше, чем покориться вам!..

— Ну, идите! идите!.. Наш разговор закончен.

Шафран отпирает мне дверь и провожает через пустой коридор в палату.

— Зачем вы так резко? — с легкой досадой выговаривает он мне.

— А что мне остается? — отвечаю я.

Шафран уходит, а я опускаюсь на диван перед столом.

Да... Вот оно как. Борьба... борьба... И угораздило меня... родиться в России... писал Пушкин. Это в те времена, а сейчас-то пожестче. Да. А родился я во Франции... жил бы где-нибудь сейчас спокойно... проповедуя соседям своим Христа. И никто бы не трогал меня. Свободно говорить, не боясь, что за это посадят тебя в сумасшедший дом... и будут там угрожать шприцами всевозможные унтер-пришибеевы в медицинских халатах... Да. Разве это не благо? Если бы выбирать между Францией и сумасшедшим домом... я бы выбрал, конечно, Францию. Но если б и Россия была в выборе... Да. Всё-таки я плоть от плоти моего народа... глупого, невозможного народа... Да... а теперь впереди борьба... жестоко всё очень. Но это — как посмотреть... В сущности ведь нет ничего страшного, пугает обычно лишь неизвестность... Неприятно, конечно... чертовски неприятно из-за Аллы и мамы... А так — что я, уколов, что ли, их побоюсь? Или смерти? Крутишься в жизни, вертишься... устаешь, раздражаешься... иногда сибаритствуешь... а про себя ведь знаешь, всё равно знаешь: всё это шелуха... а под нею — лишь надежда на Бога...

Минут через десять возвращается Шафран и приглашает меня опять в свой кабинет. Живодерки уже нет.

— Ну, ты мне чуть не испортил всю обедню, — говорит он. — Когда ты про голодовку сказал, ей будто шлея под хвост попала. Но всё-таки ты хватил через край... Достаточно было просто сказать, что ты отказываешься от лечения, — и тебя бы отпустили одиннадцатого числа. А теперь одиннадцатого нельзя — ты подумаешь, что мы твоей голодовки испугались... Так что

должен тебя огорчить: выпишут тебя лишь тринадцатого. Несчастливое досталось тебе число...

— Это пусть атеисты суевериями занимаются. А мы, православные, в это не верим.

Шафран смеется. Потом, чтобы рассеять мои сомнения, доверительно заключает:

— Ну, на этот раз — уже окончательно. Вот я даю (он что-то черкнул в какой-то толстой тетради) распоряжение приготовить тебе вещи...

Повеселев, я возвращаюсь в палату. Уже прибыло несколько новеньких. Вот один из них, лежа на койке, кричит мне:

— Эй, борода!

— Ну?

— Скажи что-нибудь!

— Не могу.

— Почему?

— Я дурак.

Другой привстает на койке:

— Эй, борода!.. а ты мне нравишься...

— Ты мне тоже.

— Давай познакомимся?

Мы протягиваем руки, называем себя.

— А ты, наверно, к искусству имеешь отношение?
— спрашивает он меня. — Музыкант?

— Не угадал.

— Писатель?

— Ну, куда мне!.. А ты кто — писатель?

— Какой я писатель... Лишь одно письмо написал... Косыгину... Отослал в «Правду» — не напечатали. Почему?

— Не могут же они все письма печатать. А то бы и каждый начал писать. К тому же у них линия своя: что ей соответствует, они печатают... а остальное — нет.

— Вот то-то и оно. А почему? Если я написал правду?..

Пауза.

— Тебя, что же, за это и посадили? — спрашиваю.

— Не, я концерт давал.

— Какой концерт?

— А на улице, в автобусах, в метро... песни пел. Москвичей веселил. Люблю песни!..

Вечером меня останавливает в коридоре пожилой санитар, он слегка «поддавши»:

— Ну, когда тебя выписывают? .

— Тринадцатого.

— Ну и хорошо, и хорошо... А я в кабинет заходил, когда ты с заведующим разговаривал. Вот, думаю, разговаривают... как ученые... Я тебя сразу заметил, когда привезли только... Очки-то с тебя кто снимал? Не помнишь?.. Это я в тот вечер дежурил... Вот уж, думаю, не похож на наших — вежливый такой, образованный... Почему, думаю, он сюда попал? Не иначе, как по пьянке...

— Да нет, меня КГБ сюда направил.

— Кто-кто?

— КГБ.

— Ну да... известное дело... Ведь у тебя жена-то есть?..

— Есть.

— Ну вот... Она-то на тебя и заявила... Ведь я же знаю.

— ?!

— А ты не пей, не пей, милый, остепенись, человеком станешь. Водка никого еще до хорошего не доводила... Ну, если в меру, да к случаю... Кто не пьет?.. А так нельзя. Нет, ты уж поверь мне, нельзя...

Его кто-то зовет, и он отходит от меня.

Одиннадцатого, в воскресенье, — свиданье. Приходят мама и Алла, их по очереди пропускают ко мне.

Обе, конечно, взвинчены, но стараются держать себя в руках, чтобы меня не расстраивать. Мама — так

совсем больная. Первым делом спешу их обрадовать:

— Ну, тринадцатого меня выпускают, — это уже окончательно!..

Мама мне верит охотно, но Алла настроена слишком скептически:

— Кто знает — отпустят или нет?.. Им верить нельзя. В прошлый раз твой Шафран меня тоже уверял, что четвертого выпустят... и в тетрадке той тоже при мне что-то чертил, — дескать, даю указание приготовить вещи... Приготовили! Душу они выматывают — вот что!.. Так что уж лучше, пожалуй, подготовиться ко всему...

Меня ее маловерие раздражает — как так не выпустят? Решено окончательно! Мне так хочется верить в тринадцатое число... Я надуваюсь на Аллу, что-то резкое говорю ей, хотя в глубине сознаю, что она, конечно, права. Да... сумасшедший дом может сделать, пожалуй, кого угодно ребенком...

Вот проходит двенадцатое число. Утром тринадцатого меня вызывает к себе Шафран. Я вхожу:

— Ну, Герман Леонидович, чем вы меня еще обрадуете?

— Садись, сейчас всё расскажу. Видишь ли, я настаиваю на твоей выписке отсюда. Заместительница главного врача (главврач в командировке) вроде бы поддерживает меня в этом, но старший врач (помнишь ту женщину, что беседовала с тобой?) настаивает на лечении, и с ее мнением мы вынуждены считаться. Окончательное решение будет принято сегодня до половины второго, и я немедленно тебя о нем извещу.

— Герман Леонидович, действительно ли врачи могут принудительно «лечить» меня без суда, даже если против этого будут протестовать мои родственники?

— Да, этим правом врачи обладают. Но, видишь ли, по этическим соображениям нецелесообразно лечить человека, если заранее известно, что лечение ничего не даст. Какой же смысл проводить его, если тем более

ты будешь сопротивляться? Придется тебя скручивать, делая уколы... скручивать, кормя через зонд... Если бы я сам верил в то, что тебя можно вылечить применяемыми у нас лекарствами, — я бы первый настаивал на подобном лечении. Но так как от меня зависит, к сожалению, не всё, то будем дожидаться решения заместителя главного врача. Впрочем, я думаю, что больше шансов на то, что тебя выпишут как не поддающегося лечению. А там — кто знает?..

— А в случае, если примут решение о «лечении», то чем меня будут шпиговать?

Шафран называет какое-то лекарство, которое я не запомнил, и спрашивает:

— Ты с химией не знаком?

— Нет, к сожалению.

— Это — состав из биологических веществ... в ампулах... Уколы не очень болезненные, — аминазин гораздо тяжелее. Снимает напряженность, успокаивает, рассасывает незапущенные бредообразования, — если им нет еще шести месяцев. Как видишь, тебе этим лекарством помочь нельзя, ведь у тебя всё началось с шестьдесят второго года, если не раньше... К тому же у этого лекарства есть одно неприятное свойство: медицинский эффект достигается заодно с некоторыми побочными явлениями... дрожанье и дерганье рук, слюна изо рта... Обычно эти явления устраняются дополнительным приемом таблеток, но так как ты, по всей вероятности, будешь отказываться от них, то придется через каких-нибудь три-четыре сеанса, при появлении этих признаков, лечение прекращать...

После некоторого молчания:

— Была здесь твоя жена... Она не умная... не умно поступила — решила подать в суд. Это ведь ни к чему не приведет... И врачебный персонал нашей больницы относится к ней — буду с тобой откровенен — с неприязнью и недоверием... и будет стараться не итти на контакты с нею, потому что она находится под твоим пол-

ным идеологическим влиянием. Она так же, как и ты, не критически относится к твоей болезни... Понимаешь меня?..

— Я вас понимаю.

— Поэтому было бы лучше, если бы не она, а твоя мать (это она приходила в прошлый раз на свиданье?) приняла на себя роль представителя твоих интересов. Она и в 1962 году проявила в какой-то степени понимание твоей болезни... а это позволит врачам обращаться к ней более доверительно...

— Моя мать всегда считала меня здоровым, и она в любое время может подтвердить это. Она тоже возмущена поведением врачей и будет протестовать вместе с женою против любого «лечения»!

— Ты в этом уверен?

— Можете не сомневаться.

— Я могу позвонить ей и в твоём присутствии поговорить с нею?

— Пожалуйста.

Герман Леонидович набирает номер телефона моей матери, но подходит соседка, говорит, что ее нет дома.

— Ну, хорошо... Я скажу Масляевой, что твоя мать — тоже против лечения... А теперь будем дожидаться половины второго. И если Масляева не позвонит мне, то я буду звонить ей сам. Во всяком случае, я немедленно извещу тебя о принятом решении...

— Я могу только еще раз напомнить, что сегодня вечером, если я буду еще здесь, я начинаю голодовку.

— Да-да... о голодовке... Я не советую тебе ее проводить... Но уж если тебе так хочется... что ж... Только скажу тебе откровенно: очень неприятная это штука — зонд. Да... И придется переводить тебя в другое отделение...

Ни в половине второго, ни в два, ни в три, ни в половине четвертого — никакого известия о принятом решении... Что ж, я уже, кажется, привык к этой мане-

ре. Алла сказала: душу выматывают... Вот именно. Видно, решение о том, чтобы меня не выпускать, уже принято... Сейчас, перед ужином, явятся санитары, перевезут меня в буйное, будут заламывать руки, кормить через зонд, а завтра с утра приступят к «лечению»... Да. Душу выматывать они действительно умеют... Но хуже всего, что сегодня не пришла Алла. Обещала прийти и не пришла... Ведь эти гады способны на всё — могут схватить ее, отвезти в диспансер, припечатать диагноз, отправить в сумдом... Что их, совесть заест, что ли? Шизофреник муж, сумасшедшая жена, делай с ними, что хочешь... Вот благодать для КГБ! Поставить бы так на учет всё население... Ну, кроме самых надежных, конечно. И чуть что, какое отклонение — «ага! полечить надо!»

— Шиманов! — кричит санитар, — к врачу!

В кабинете Шафран и — слава Богу! — Алла. Значит, еще не самое худшее. Алла говорит мне, что сейчас при ней Герман Леонидович записывал на диктофон историю моей болезни, и там в конце стоит уже дата выписки — пятнадцатое мая...

«Почему на диктофон? — думаю я, — что за бред? Опять морочат голову?..»

— Не верю я теперь ни в какие даты, — говорю. — Сегодня вечером начинаю голодовку.

— Они, конечно, могут опять обмануть нас, — говорит Алла, — но вот Герман Леонидович уверяет, что решение о выписке принято уже окончательно, и других изменений не будет... Пятнадцатого утром, по его словам, тебя отпустят.

— Все равно голодовку начинаю сейчас и закончу ее лишь, когда выйду на волю.

Возвращаюсь из кабинета — ужин уже начался. Подходит санитар:

— Идите ужинать.

— Я не буду.

— Почему?

— Объявил голодовку.

— Да бросьте. Идите ешьте.

— Не пойду.

— Вы что, на самом деле объявили голодовку?

— Да.

— А почему?

— Меня незаконно держат в сумасшедшем доме.

— Да бросьте. Охота вам желудок свой портить...

— Ничего. Не испортится. Если и испортится, — врачи меня вынуждают свое здоровье портить!..

Санитар оставляет меня в покое. На следующий день ко мне никто из медперсонала уже не подходит — ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. Только юноша один, из больных, кротчайший и добрейший Володя Литвин, всё время просит меня отказаться от голодовки и покориться врачам:

— Ну поешьте, пожалуйста!

— Спасибо. Я твердо решил не есть.

— Но ведь всё равно же вас будут кормить через зонд...

— Пусть.

— А меня здесь тоже держат ни за что... А я в знак протеста ем.

— ?!

— Да-да. Они говорят, чтоб я не курил, а я курю и ем. Можно так?

— Можно, конечно... Каждый по-своему протестует.

— Ну поешьте, пожалуйста!

Остальные больные — из тех, кто слышал про мою голодовку — поглядывают на меня с любопытством: «Сколько же дней он продержится?»

А у меня слегка кружится голова, но не от голода; просто я дней уже десять как температуру, простужен. Бродит не так уж и холодно на дворе, а вот проняло — слишком много торчал у окна, любясь на майскую зелень.

— Странствия Одиссея читаешь? — рядом со мною стоит молчаливый обычно юноша, судя по его внешности — явно больной... Иногда он вроде бы безо всякой причины вдруг оглушительно свистит, засунув два пальца в рот, а затем, сконфузившись, с каменным лицом уходит куда-нибудь в другое место.

А я действительно читаю Гомера.

— Забавная, наверно, штука? — спрашивает он.

— Да, ничего...

— А отсюда ведь уже не выберешься...

— Из сумасшедшего дома?

— Да.

— Ну, поживем — увидим...

— Нет, не выберешься.

И вот — пятнадцатое число. После обеда пошли уже третьи сутки моей голодовки, — переносу я ее легко. Но вот что трудно: отделаться от внутреннего беспокойства, от позорной тревоги за то, что со мною будет. «Выпустят или не выпустят?..» — вот чем сейчас — не на поверхности, а внутри — занята вся душа моя. И как мне ни ясно, что мое малодушие неразумно, что с высоты на нас смотрит Бог, я не могу еще полностью сосредоточиться на вечности и стать совершенно спокойным: сумасшедший дом, тревога за близких, нервы — всё это дает себя знать... Вот подходит сестра и просит помочь ей подготовиться по «обществоведению»: экзамены завтра, а она и на лекциях не была, и в книжку еще не заглядывала. Я рассказываю ей о Кампанелле, о прибавочной стоимости и ленинской теории революции, а внутри у меня между тем всё скребется какая-то мышь: выпустят или не выпустят?.. Вот уже выпустили всех, кто был должен сегодня выписаться... Вот уже два часа дня... три часа...

Прибегает знакомый больной:

— Сейчас видел списки выписывающихся, тебя там нет!

— Нет так нет... У-у, гады... мучители!

Вот и четыре. Собираются все на прогулку, и я тоже надеваю пальто. В это время уже не выписывают. Вместе со всеми выхожу во двор.

— Генмих! — слышу голос Аллы. Где она? Оглядываюсь... Вон — на скамейке. У входа в наш красный дом.

— Генмих! Герман Леонидович мне сказал, что, может быть, сегодня еще успеют тебя выпустить... Он сейчас у Масляевой — понес ей какие-то о тебе бумаги...

Мне разговаривать не разрешают, уводят вместе с другими больными в загон, предназначенный для прогулок. Я хожу по загону, натываюсь иногда на кого-нибудь, раздраженный, усталый, обеспокоенный: выпустят или нет эти гады?.. Минут через тридцать-сорок на втором этаже открывается окно и кто-то кричит:

— Шиманова! быстро! одеваться! Через пятнадцать минут закрывается касса!

— Шиманов! Шиманов! Бегом к врачу!.. Одеваться!... — кричат мне сестры, которые гуляют с нами.

А мне уж и бежать не хочется. Медленно поднимаюсь по лестнице, «к себе», на второй этаж, подгоняемый сестрою.

— Быстро бегите в кассу, — говорит мне Шафран в кабинете, — у вас там кольцо и деньги... Поспешите, через десять минут она закрывается.

Он снова, кажется, перешел со мною на «вы». По крайней мере в присутствии Аллы — она сидит здесь же.

В сопровождении сестры я иду в другой корпус, где находится касса. Получаю кольцо и деньги — и снова назад. В отделении получаю свою одежду, одеваюсь в пустом коридоре. Из «веселой» половины доносится рев: утром привезли новенького, — тот сбросил с себя всё, сидит на кровати в чем мать родила и, не переста-

вая, ревет... Одеваюсь, захожу в кабинет Шафрана получить бюллетень.

— Ну, я надеюсь, вы не забудете о том, о чем мы здесь говорили с вами? — обращается ко мне Герман Леонидович, протягивая бюллетень.

— Да, конечно, Герман Леонидович, эти беседы я буду помнить.

Мы выходим с Аллой с территории больницы; всюду народ, — конец рабочего дня. Припекает перед заходом солнышко, стоят очереди за квасом, торгуют мороженым. Вот они, эти коробочки, но уже наполненные холодной белой массой, по сорок восемь копеек, которые приходилось нам делать... Мне душно и неприятно в моем теплом свитере, да и к тому же держит еще напряженье последних дней. Да...

В кармане моем бумаги, *записки из красного дома*, которые надо еще отредактировать и опубликовать. Я писал их, спрятавшись по возможности от врачей и сестер, потому что записки эти — единственное мое оружие. В следующий раз попаду — не дадут и весточки передать на волю...

На свиданье приедет Алла, — выведут к ней придурковатого Генмиха, слюнявого, хихикающего... «Есть прогресс! — скажет лечащий врач, — уже в Бога не верует. Соображает, правда, еще с трудом и языком еле ворочает, но ведь и раньше у него была только внешняя логика, а по существу-то ведь бредил...»

Кто знает?.. Может быть, это и есть столь желанное и единственное на земле счастье — стать таким вот слюнявым хихикающим идиотом, вознесшимся над всяким несчастьем, поправшим любую печаль, нашедшим последнюю мудрость в самом простом и жалком безумии... Относиться к врачу своему как к духовнику, исповедоваться перед ним в своих чувствах и мыслях и получать взамен от него чудодейственные таблетки... Разве не обольстительно это?..

Да будет воля Господня во всем!.. Сведут ли меня

с ума, оставят ли в разуме, всё хорошо и прекрасно под небом Всевышнего. Всё принимаю, что посылает Бог, всё принимаю, как ребенок из рук отца, — и сладость, и горечь, и разум, и безумие, и свет, и тьму, и любое злодейство, и всякую доброту.

Находясь в сумасшедшем доме, я много думал о том, что всё в нашем мире совершается по воле Господней, которая так чудесна, что сохраняет вполне человеческую свободу, но в то же самое время ведет человека и всё человечество своими таинственными путями. Этого нельзя уяснить до конца умом, но об этом догадываешься однажды и в это веришь.

Вот меня, беззащитного, посадили злодеи в сумасшедший дом, думая этим самым меня напугать, блокировать проповедь христианства... Естественно, возникает вопрос: что же они — всесильны?.. И оказывается на первый взгляд, что — да. Но... вот они не сумели меня испугать. Наоборот, опозорились еще раз перед всеми, кто прочитает вот этот отчет. Ну, посадят меня опять... Будет тот же эффект. А погубят — из меня, чего доброго, и на самом деле может получиться святой... Не по заслугам моим — у меня их нет, — а по преступленьям мучителей. И еще неизвестно, что для них будет хуже: убить меня, посадить в сумасшедший дом или оставить в покое... Где же всесилие?..

Крохотный этот пример не разъясняет безмерной тайны всего, но дает мне прозрачный намек на отношение людской свободы к Великому Промыслу. Всякое действие порождает таинственное противодействие, которое можно и не понять, которое можно и не заметить, но которое тем не менее уравнивает и направляет ход вещей, в результате чего всё идет по таинственному и предназначенному Богом пути.

Май-июнь 1969 года

Н. Ф. Платтен

Из Зеркального переулка в Кремль

ПАСХА. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ 1917 г.

Ленин работал над пятым «Письмом издалека»¹⁾, в котором полемизировал с Каутским. Письмо, однако, осталось неоконченным, и он вернулся к этой теме лишь во время своего нелегального пребывания в Финляндии, когда писал свою работу «Государство и революция»²⁾.

Вечером уезжавшие в Россию большевики собрались в Берне; после незначительных стилистических поправок ими было принято ленинское «Прощальное письмо к швейцарским рабочим»³⁾. В этом важном для понимания концепции Ленина документе он еще раз определенно отмежёвывается от меньшевиков и группы «центра», которые (если перенести их на швейцарскую почву) отождествлялись для него с именами Германа Грэйлиха и Роберта Гримма. Он резко выступает против обороны Швейцарии в империалистической

Окончание. См. начало в «Гранях» № 77, — Р е д.

¹⁾ «Письма издалека. Письмо пятое. Задачи революционного пролетарского государственного устройства». Том 23, стр. 231. — Р е д.

²⁾ Том 25, стр. 353-462. — Р е д.

³⁾ Том XX, стр. 65-70, а также том 23, стр. 357-364. — Р е д.

войне, хвалит работу «Циммервальдской левой» и в особенности «Свободную Молодежь»⁴⁾ Мюнценберга,

«которая с революционным подъемом борется против всех недугов, ослабляющих и делающих неспособными к борьбе как швейцарскую, так и любую другую европейскую социал-демократическую партию».

И снова Ленин красноречиво оправдывает свою тактику превращения империалистической войны в гражданскую.

В этом документе отчетливо выступает, с одной стороны, его «русский комплекс неполноценности», с другой — его «германофильство». Он, презиравший швейцарского рабочего за его нерешительность, считает, что

«немецкий пролетариат есть вернейший, надежнейший союзник русской и всемирной революции»⁵⁾,
и договаривается до того, что

...в Германии уже кипит настроение пролетарской массы, которая так много дала человечеству и социализму своей упорной, настойчивой, выдержанной организационной работой в течение долгих десятилетий европейского «затишья» 1871-1914 годов»⁵⁾.

Мысль Ленина о том, что революция в Германии будет несравнимо сильнее русской, оказалась исторической ошибкой.

«Россия крестьянская страна, — писал Ленин, — одна из самых отсталых европейских стран. *Непосредственно* в ней не

⁴⁾ «Freie Jugend» («Свободная Молодежь») — орган швейцарской социал-демократической организации молодежи;... В годы мировой империалистической войны (1914-1918) примыкал к Циммервальдской левой». — Том 23, стр. 391. — Р е д.

⁵⁾ Том 23, стр. 363. — Р е д.

может победить тотчас социализм.. Русскому пролетариату выпала на долю великая честь начать ряд революций.. Но нам абсолютно чужда мысль считать русский пролетариат избранным революционным пролетариатом среди рабочих других стран. Мы прекрасно знаем, что пролетариат России менее организован и сознателен, чем рабочие других стран. Не особые качества, а лишь особенно сложившиеся исторические условия сделали пролетариат России на известное, может быть, очень короткое время застрельщиком революционного пролетариата всего мира»⁶⁾.

Только непоколебимая вера Ленина в то, что русская революция, как искра, перебросится на Запад, позволяла ему мечтать о революционной войне.

«Нам пришлось бы вести революционную войну против немецкой и не одной только немецкой буржуазии. Мы повели бы ее. Мы не пацифисты»⁷⁾.

От такой смелой мысли, которую он горячо защищал на Апрельской (VII) Всероссийской конференции РСДРП(б) в Петрограде и которая, однако, не была принята, до горькой действительности Брест-Литовского мира ему предстояло пройти долгий и мучительный путь!

ПАСХА. ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ 1917 г.

В час ночи Ромберг телеграфировал МИДу*), что эмигрантов могут ждать в России уголовные преследования. Поэтому в их интересах было бы гарантировать, что они не будут вступать в разговоры с немцами во время их проезда через Германию. Платтен должен был всё это объяснить Янсону.

⁶⁾ Том 23, стр. 361. — Р е д.

⁷⁾ Там же, стр. 360. — Р е д.

*) МИД — министерство иностранных дел. — Р е д.

«29 русских едут определенно, может быть, до 37, члены различных групп ленинского (sic!) направления. Поедут ли социалисты-революционеры, еще не ясно»⁸⁾.

В следующей телеграмме, в два часа ночи, он передал для отъезжающих, что относительно разрешения на проезд через Швецию они могут полностью положиться на содействие немецкого МИДа.

Утром уезжавшие собрались в Цюрихе, в ресторане «Церингергоф». Как сообщает Харащ, день отъезда держался в тайне. Только утром в этот день в русском читальном зале на Кульманштрассе появилось соответствующее объявление. Тем временем Платтен позаботился о провианте на дорогу. Под поручительство Отто Ланге и Платтена руководство социал-демократической партии предоставило в распоряжение отъезжавших 3000 франков наличными деньгами. Группа отъезжавших собралась за скромным обедом, во время которого 14 голосами против 11 было решено, что некий Блюм не должен ехать с ними, поскольку он был заподозрен в сотрудничестве с царской охранкой. Когда же он тем не менее во время посадки сделал попытку сесть в поезд, Ленин, как рассказывает Харащ, схватил его за шиворот и собственноручно выставил вон.

Стефан Цвейг красочно описал в своей новелле, как маленькая группа людей, в чисто русском стиле, нагруженная всеми своими пожитками — с чемоданчиками и корзинками, подушками и одеялами — отправилась к близ расположенному главному вокзалу. Позднее сам Харащ не менее выразительно описал эту сцену в «Нойе цюрхер цайтунг»:

«Зато Ленин и его помощник Зиновьев везли с собой идейный багаж, казавшийся им незаменимым; из небрежно застег-

⁸⁾ Werner Halweg, Lenins Rückkehr nach Russland 1917. Die deutsche Akten. Leiden, E. J. Brill, 1957, Seite 91. — Р е д.

нутого рюкзака торчала целая коллекция их «Социал-демократа» и другие издания, выпускавшиеся ими во время войны в Швейцарии. Эта часть багажа действительно должна была представлять для них историческую ценность, т. к. в этих изданиях Ленин с первого дня войны предсказывал поражение России и гражданскую войну. Я видел, как Ленин и Зиновьев вместе пришли на вокзал, чтобы дать последние распоряжения и занять свои места в поезде. Ленин отнюдь не выглядел смущенным и приветствовал всех так, будто ничего особенного не происходило, приветствовал той улыбкой, которую друзья Ленина так часто видели на его ярко выраженных монгольских губах. На лице великого циника незаметно было ни волнения, ни умиления, которым были охвачены почти все едущие с ним и для которых Россия отныне открыла свои до сих пор наглухо запертые ворота.

И в этой ситуации на вокзале Ленин никак не проявил себя чувствительным: перед нами стоял человек дела. Известно было, что с самого начала он и Зиновьев выступали перед немецкими властями под своими настоящими именами и кличками. Таким образом, и для людей со стороны это был ленинско-зиновьевский поезд. Однако бремя ответственности нимало не страшило их».

Кроме знакомых и товарищей, которые провожали уезжавших, на вокзале было несколько чиновников немецкого генерального консульства, которым не хотелось пропустить этот исторический момент. Прислал своего связного в качестве наблюдателя военный атташе Бисмарк; присутствовал также Кнапп, руководитель немецкой пропагандной прессы в Швейцарии, прибывший сюда по поручению секретаря посольства Эдуарда фон Симсона. В своем донесении связной указал, что в толпе провожавших он заметил дочь руководителя польских рабочих Феликса Кона, отца же ему обнаружить не удалось. Также бросился ему в глаза известный

«анархо-социалистический подстрекатель Фриц Платтен, который, наряду с Гриммом⁹⁾, был вторым консулом здешней 'рабочей партии'». Дальше он пишет:

«Прощание было довольно бурным, и в этой обычной недисциплинированной форме снова обнаружил себя разлад в рабочих партиях всего мира. Экстремисты переругивались, как воробьи на крышах, они вопили, что все уезжающие — немецкие шпионы и провокаторы, что «вас всех повесят, вы — жиновские подстрекатели» и т. д. Особенно выделялся из толпы один молодой русский, который орал: «Провокаторы! Негодяи! Свиньи!» На его выкрики из поезда кто-то вопил в ответ: «Подлец! А ты сам-то кто?! Тебя специально послали провокатором из Женевы. Я точно знаю, что ты ежемесячно получал в тамошнем консульстве свои 200 франков!» Когда поезд тронулся, уезжавшие и многие из провожавших друзей запели «Интернационал», в то время как другие продолжали кричать вслед поезду: «Шпионы, провокаторы!» Такова была эта маленькая, подлинно русско-польская очаровательная сценка», — заключает связной свой рапорт Бисмарку. И добавляет, что если бы немцы взяли с отъезжавших обещание действовать в пользу мира, он посчитал бы это ошибкой, «поскольку отобранные соответствующим образом люди так или иначе будут это делать, подобные же обязательства давали бы основания подозревать их в шпионаже».

Платтен в свою очередь тоже подтверждает бурные стычки и, ссылаясь на Хараша как на свидетеля, утверждает, что и сам он будто бы был недалек от того, чтобы столкнуть под колеса поезда одного почти обезумевшего социал-демократа, в то время как Ленин и Зиновьев совершенно равнодушно взирали на бушевавшие вокруг них страсти.

Девятьсот пять дней прошло с тех пор, как Ленин 5 сентября 1914 года без паспорта прибыл в Букс и,

⁹⁾ Р. Гримм был председателем Интернациональной социалистической комиссии (I. S. K.). Более подробно о нем см. т. 35, стр. 502, сноска 227 к стр. 259. — Р е д.

дав имя Грёйлиха как поручителя, получил разрешение на въезд. Почти так же идиллически прошел и его выезд из Швейцарии. Военная полиция даже не обратила внимания на уезжавших русских, т. к. в те времена имена иностранцев еще нигде не регистрировались. В Шафхаузене швейцарские таможенники проверили дорожный провиант, и часть его была отправлена обратно, поскольку количество, разрешенное к вывозу, было превышено. Багаж был запломбирован, однако в Тайнгене швейцарская пломба была вновь снята. По рассказам швейцарских железнодорожных служащих, Ленин раздал написанное по-русски циркулярное письмо, содержащее инструкции, как вести себя во время путешествия. Согласно донесениям, Ленин и Платтен держали себя весьма вежливо, и всё прошло вполне гладко и корректно.

На немецкой стороне формальности оказались еще проще. Платтен роздал едущим 32 записки с номерами, и каждый получил один из номеров. Эти записки следовало предъявить на границе, чем и закончилась процедура переезда через границу. Однако багажный вагон немцы запломбировали. Радек рассказывает, что при небольшой задержке в Готтмадингене, где в зале ожидания третьего класса женщины и мужчины должны были разделиться на две группы, все они стояли молча и в очень подавленном состоянии. Ленин же спокойно стоял у стены, окруженный товарищами. «Мы не хотели, чтобы за ним наблюдали», — добавляет Радек. В специально отведенном вагоне, разделенном на две половины (первая половина — 2-го класса, для женщин и детей; вторая — третьего класса, для мужчин), первое купе заняли сопровождавшие группу офицеры. Проведенная мелом по полу черта отделяла то место, по которому имел право проходить только ответственный за путешествие Платтен при выходе из вагона. Зиновьев отозвался о сопровождавших весьма нелестно, заявив, что вагон был оккупирован целой армией клопов. Однако в правильности этого высказывания следо-

вало бы усумниться, так как Зиновьев тут же утверждает, что «нас сопровождали некоторые швейцарские товарищи». Но кто же были эти другие швейцарцы, которые якобы ехали через Германию в «запломбированном вагоне»?

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ 1917 г.

В Зингене путешественники провели ночь в отведенном на запасной путь вагоне. Утром, в 5 часов 10 минут, вагон с «живой амуницией» был прицеплен к обычному составу. Согласно Платтену, вагон был заперт с трех сторон и лишь четвертая дверь оставалась открытой, чтобы через нее могли выходить из вагона ответственные за поездку лица. Людендорф пошел навстречу пожеланию МИДа и назначил сопровождающим офицером риттмейстера саксонского королевской гвардии полка прусского аристократа Арведа фон дер Планица. В свою очередь к Планицу был прикомандирован лейтенант Бюринг, который, как сообщает пытавшийся реабилитировать Платтена его биограф Иванов, делал вид, что не понимает по-русски ни слова, хотя был тщательно подготовлен к возложенной на него обязанности следить за едущими.

В Штутгарте сел в поезд Янсон и заявил, что желает говорить с Платтенем. По его словам, он хотел передать едущим привет от генеральной комиссии немецких профсоюзов. Ленин отказался его принять и посоветовал Платтену «послать его к чёртовой бабушке». А на случай, если Янсон будет настаивать на своем, Ленин рекомендовал Платтену не останавливаться даже перед физическими мерами воздействия. Ленин опасался, что при встрече с Янсоном может раскрыться нелегальный проезд Радека, так как Янсон знал Радека лично. По словам Радека, его спрятали в багажное отделение и снабдили достаточным количеством газет, чтобы он вел себя спокойно. На следующее утро Янсону

передали отказ Ленина, и он отступился. Несмотря на эту политическую пощечину, он, по свидетельству Радека, продолжал заботиться о путешествующих и даже покупал для них на каждой станции немецкие газеты. Когда Платтен вернул ему все его расходы, Янсон якобы был весьма разочарован.

Ленин, вместе с Крупской, получил отдельное купе, чтобы иметь возможность работать. Но в соседнем купе было очень шумно — Радек рассказывал анекдоты Сафаровым, Ольге Равич и Инессе Арманд, и оттуда часто раздавались взрывы хохота. Кроме того, путешествующие в самом веселом расположении духа громко распевали французские песни — Марсельезу, Карманьолу и другие, так что на вокзале в Мангейме Платтену пришлось призвать их к порядку и категорически запретить пение французских революционных песен.

Во Франкфурте-на-Майне оба сопровождавших офицера покинули вагон, и Платтен, который должен был встретиться здесь со своей приятельницей, последовал их примеру. У буфета он купил газеты и кружки с пивом и попросил стоявших тут же солдат отнести за вознаграждение всё это к вагону. Радек не смог удержаться и стал расспрашивать солдат об их настроениях. Те в свою очередь взволнованно спрашивали его, наступит ли мир и когда? Хотя все они были шейдемановцами (социал-патриотами), встреча с ними больше показала путешественникам истинное настроение народа, чем это пришлось бы по вкусу немецкому правительству. По всей вероятности, едущие провели эту ночь на оцепленном перроне во Франкфурте-на-Майне, поскольку Иванов сообщает, что состав был отправлен только на следующий день.

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ 1917 г.

Если перрон был по-военному оцеплен уже во Франкфурте, то в Берлине охрана усилилась еще боль-

ше. Крупская коротко упоминает об одной попытке сблизиться с ними шейдемановских социал-демократов, которые незадолго до Берлина заняли в поезде особое купе(?). Но попытка ограничилась только вопросом, обращенным к четырехлетнему Роберту по-французски: «Что делает кондуктор?» Остальные с ними не говорили. Платтен пишет, что ему было запрещено покидать перрон без сопровождающего. Зиновьев замечает: «Берлин, который мы видели из окон поезда, напоминал кладбище». Иванов через сорок пять лет сделался вдруг более разговорчивым и неожиданно сообщил, что на Потсдамском вокзале будто бы толпились переодетые в штатское офицеры генерального штаба, которым не терпелось повидать ленинскую группу. Так как вагон всё равно охранялся, Планиц и Бюринг (по Иванову), распевая сентиментальную песенку, отправились в ресторан. Когда же оба вернулись, перрон оказался пуст. Они пришли в страшное волнение, потому что им в случае, если бы с путешествующими что-либо случилось, угрожал военный суд. В конце концов они еще вóвремя обнаружили поезд на Штетинском вокзале и благополучно добрались до порученного им вагона.

Граф Пурталес получил сообщение от Политического отдела генерального штаба в Берлине (фон Хюльзена), что переодетый в штатское офицер посетил в послеобеденное время состав и Платтен заявил ему, что русские вполне удовлетворены помощью, оказываемой им немецким правительством. Состав несколько запоздал, и русским пришлось провести вечер в Заснице. Там им было предоставлено помещение.

Из Бад-Гомбурга от императора Вильгельма Второго пришло уведомление о его согласии пропустить русских эмигрантов, но при условии, что в России они станут действовать в пользу заключения мира и что взамен их будут отпущены интернированные в России гражданские немецкие пленные. В ответной телеграмме имперский канцлер Бетман-Гольвег сообщил:

...«сразу же после начала русской революции я немедленно поручил послу Вашего Величества в Берне установить связь с эмигрантами... и предложить им при этом проезд через Германию»¹⁰).

И это в то время, когда часть эмигрантов уже проехала через Германию! Хотя Бетман-Гольвег «верноподданнически» и послал это сообщение в ответ на «милостивую телеграмму Его Величества», факт остается интересен тем, что как немецкий генеральный штаб, так и министерство иностранных дел на свой страх и риск затеяли в высшей степени важное политическое дело без разрешения «старого Вильгельма».

В письме к швейцарской прессе Ромберг дал разрешение сообщить о проезде русских.

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ 1917 г.

Путешественники провели ночь в импровизированном пристанище в Заснице. С багажного вагона сняли пломбы, и багаж был возвращен путешественникам. Пограничные формальности с немецкой стороны ограничились тем, что едущих только пересчитали. Затем их погрузили на паром, который должен был их доставить в Треллеборг (в Швецию).

Странно, что рапорт Планица о проезде Ленина, адресованный начальнику отдела III-б, заместителю начальника генерального штаба, не был найден среди захваченных*) немецких документов. Сохранился лишь его второй рапорт о путешествии: о том поезде, который с 147 мужчинами, 74 женщинами и 32 детьми пересек швейцарскую границу 13 мая 1917 года в 7 ч. 50 мин. и прибыл в Засниц 14 мая в полдень, так что пас-

¹⁰) Werner Halweg. Стр. 94-95. Документ «№ 259. Берлин, 11 апреля 1917». См. выше сноску ⁸). — Ред.

*) По смыслу изложения — захваченных победителями. — Ред.

сажиры могли в тот же день воспользоваться паромом. Таким образом, второму транспорту понадобилось на 10 часов меньше времени, чем первому с Лениным. С этим нередко связывалось предположение, что Ленин вел переговоры в Берлине. Я лично в эту версию не верю.

Представитель МИДа в главной ставке телефони-ровал в МИД в Берлин, что Его Императорское Вели-чество внес за завтраком предложение снабдить проез-жающих через Германию русских Белыми Книгами и другими документами, как, например, оттисками его «Пасхального послания» и речи канцлера Бетмана-Гольвега от 29 марта 1917 года, чтобы «они могли вести просветительную работу у себя на родине». Какая без-граничная наивность обнаружилась в этом пожелании Вильгельма Второго! Кроме того, он распорядился (на тот случай, если транспорт с русскими не получит раз-решения на въезд в Швецию), чтобы верховное коман-дование немецкой армии было готово провезти путе-шественников в Россию через линию Восточного фрон-та! Это распространялось и на тех русских, которые находились еще в Швейцарии.

Девять месяцев спустя Платтен воспользовался предложенной возможностью и проехал этим более коротким путем в Петроград к Ленину на важное со-вещание, предшествовавшее Брест-Литовскому миру. Этот факт подтверждается штемпелем, поставленным в Дюнабурге риттмейстером фон Хардтом в паспорте Платтена, который хранится в государственном архиве в Берне. В своем тогдашнем прошении о визе в Цюри-хе Платтен обозначил цель своего путешествия, как «сопровождение транспорта русских эмигрантов в Рос-сию через немецко-русский фронт».

Во время переезда в Швецию путешественники по-пали в бурю, и только пятеро из них не заболело мор-ской болезнью, среди них — Ленин, Зиновьев и Радек, которые, стоя у главной мачты, вели оживленную дис-куссию. Радист парохода принял запрос Ганецкого о

том, находится ли на судне некий господин Ульянов. Капитан знал, что такого имени в списке пассажиров не было. Ленин опасался западни и посоветовал своим спутникам дать в паровой анкете псевдонимы. Он долго колебался, признаться ли ему, что он и есть тот самый господин Ульянов. Ганецкий встретил группу по прибытии в Треллеборг и предложил им «смёргос» — ужин, отличавшийся чисто шведским изобилием. Путешественники набросились на него, по словам Радека, «как стая саранчи».

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ 1917 г.

Путешественники прибыли в Стокгольм около 8 часов утра. Ночь прошла в дороге. Их, по воспоминаниям Крупской, приняли приветственными речами в украшенном красными флагами зале ожидания. Затем более узкий круг интернационалистов отправился с гостями в отель «Регина» на Дротнинггатан, о чем имеется свидетельство очевидца меньшевика Пауля Ольберга. Там состоялось нечто вроде пресс-конференции, и Радек изложил политические соображения, приведшие их к решению ехать, а Платтен описал техническую сторону предприятия. Был прочтен Бернский протокол, подписанный затем социал-демократическим бургомистром Стокгольма Линдхагеном. Кроме него подписались: Стрём, шведский секретарь партии; депутат Карльсон; Туре Нерман, издатель «Фолькетс Дагблад-Политикен»; Чильбум, издатель «Стормклёкен», и норвежский социалист Хансен. Поскольку путешествие окончилось благополучно, подписи эти не имели существенного значения, и Радек позднее, в своем отчете, охарактеризовал некоторых из подписавшихся как сентиментальных людей и «самодовольных болтунов». Во всяком случае, эти «закамуфлированные революционеры» сыграли Ленину на руку — он смог предъявить

Петербургскому совету весьма внушительный список подписавшихся.

Затем стали уговаривать Ленина купить новые ботинки, так как он якобы ехал в альпийских сапогах, подбитых гвоздями. «Уж если он желал портить тротуары отвратительных буржуазных швейцарских городов, — рассуждал Радек, — то на этот раз совесть его не должна позволять ему ехать в этих орудиях разрушения в Петроград, где... быть может, вообще больше нет тротуаров». Сопrotивлявшегося Ленина потащили в магазин, где на деньги, взятые в долг у шведских социалистов, его заново одели с ног до головы, причем помогал ему при этом знакомый с местными условиями и ценами еврейский рабочий Шапин.

Сообщения Платтена, Зиновьева и Крупской о Стокгольме отличаются необыкновенной краткостью. Крупская: «Я плохо и неясно припоминаю Стокгольм, все мои мысли были уже в России». Зиновьев: «От Стокгольма мало что осталось в памяти. Мы машинально ходили по улицам, машинально покупали самое необходимое, чтобы приодеть Владимира Ильича и других, и почти каждые полчаса справлялись о том, когда уходит поезд в Торнио».

После десятичасового пребывания в Стокгольме (по Платтену. — Р е д.), путешественники с ночным поездом покинули столицу Швеции и отправились к финской границе. Никто из них не сообщает даты; как мне удалось установить позже, это была пятница 13 апреля 1917 года.

В течение сорока лет в дневнике Ленина, включенном в собрание его сочинений, была заметка, что 14 апреля 1917 года целый день он провел в Стокгольме. Поэтому я пользуюсь этой датой, чтобы затронуть щекотливый вопрос о человеке, переговоры с которым путешественники полностью доверили самому хитрому и ловкому из них диалектику Карлу Радеку. А человек этот был — Парвус.

Не случайно в отчете Радека это имя было един-

ственным, напечатанным в разрядку. Парвус-Гельфанд через германского посла в Копенгагене Брокдорфа-Ранцау справлялся 9 апреля в МИДе в Берлине о том, когда группа Ленина прибудет в Швецию. Он уговаривал Эберта и Шейдемана встретить русских в Мальмё, но оба с самого начала отказались. Они только уполномочили Парвуса войти в контакт с Лениным по поручению партийного комитета социал-демократической партии Германии. И Парвус в Стокгольме добивался разговора с Лениным, о чем Радек сообщает следующее:

«Парвус пытался встретиться с Лениным от имени центрального комитета СДПГ, но Ильич не только был против того, чтобы принять его, но поручил мне, Воровскому и Ганецкому, вместе с другими шведскими товарищами, запротоколировать отказ. Весь день прошел в обсуждении этого, мы приходили и уходили, но перед отъездом Ленина еще раз состоялось, но уже настоящее совещание».

Что́ пытается сказать Радек этой загадочной фразой и какое значение имеет здесь тончайший нюанс между словами «обсуждение» и «совещание»? Почему они обсуждали это целый день, в то время как отказ встретиться с Парвусом был изложен в протоколе?

Шарлау и Земан, биографы Парвуса-Гельфанда, излагают этот эпизод следующим образом: сначала Ленин отказался увидеться с Парвусом. Последний расценил это как конспиративное мероприятие и попросил Радека расспросить Ленина о его политических планах.

«Сейчас прежде всего необходим мир, — говорил Парвус, — следовательно, нужно установить условия перемирия; каковы намерения Ленина?»

Ответ Ленина был короток и почти оскорбителен: он, де, не занимается дипломатией, его задача — социально-революционная агитация. На это Парвус передал через Ганецкого следующее:

«Скажите Ленину, пусть он агитирует; если для него не существует государственной политики, он станет инструментом в моих руках».

Поразительная фраза! Хотя Парвус явно потерял нервы, он не прекратил попыток войти с группой в контакт и удовольствовался разговорами с Радеком. Как известно, Радек остался в Стокгольме для того, чтобы вместе с Ганецким и Воровским создать чрезвычайной важности заграничное Бюро ЦК РСДРП¹¹⁾. После разговоров с Радеком Парвус поехал к германскому послу Брокдорфу-Ранцау в Копенгаген, куда и прибыл 16 апреля. Посол сообщил по телеграфу в МИД, что Парвус прибывает в Берлин 18 апреля, что он готов о своей поездке доложить государственному секретарю Циммерману и предлагает этот доклад сделать у себя на квартире.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ 1917 г.

Спустя пятьдесят лет всё еще неясно, когда, собственно, Ленин покинул Стокгольм (точно известно только то, что он был там 13 апреля). «Собрания сочинений» противоречат друг другу в зависимости от года издания. В первом издании говорится: «14 апреля утром — приезд в Стокгольм, вечером — отъезд в Россию». В 1947 году, в книге «В. И. Ленин — краткий очерк его жизни и деятельности» написано: «14 апреля утром он прибыл в Стокгольм и уже вечером того же дня уехал в Россию, не задерживаясь ни на один лишний час». Эта версия была санкционирована Сталиным. В новом издании в Восточной Германии день пребывания Ленина в Стокгольме определяется 13 апреля, а Иванов добавочно сообщает, что поезд отъехал в 18 ч.

¹¹⁾ Том 23, стр. 399 и том XXIX, стр. 364. — Р е д.

37 мин. Путешествие до Хапаранды, или Торнио¹²⁾, занимает один день. Установлено, что 15 апреля в 18 ч. 12 мин. Ленин отослал телеграмму своей сестре Елизаровой-Ульяновой, сообщив, что он приедет в 23 часа ночи в понедельник. Телеграмма пришла в Петербург в 20 ч. 08 мин.

Если Ленин покинул Стокгольм 13 апреля, возникает вопрос, где же он пробыл 14 и 15 апреля? Ему не достает алиби на целые сутки. Покидал ли он поезд, выехав из Стокгольма, и устраивал ли где-нибудь конспиративные конференции? Или был задержан в Торнио?*) Как сообщает газета «Фольксрект» от 16 апреля 1917 года, датский социал-демократический депутат рейхстага Боргбьерг ожидал в Хапаранде разрешение на въезд, которое Временное правительство отказывалось ему выдать. Он попытался было примкнуть к группе Ленина, однако и от него получил отказ. К враж-

¹²⁾ Хапаранда и Торнио (Торнео) — соседние станции соответственно на шведской и финской границе. — Р е д.

*) Разнобой в датах подтверждается также следующими ссылками.

Тот XX, издание второе, Москва-1927-Ленинград. стр. 712: «13 апреля (31 марта). Владимир Ильич на пароходе из Засница (Германия) в Троллеборг (Швеция). Поздно вечером приезд в Троллеборг. Отъезд в Стокгольм по железной дороге. 14 (1) апреля. Приезд утром в Стокгольм; вечером отъезд в Россию».

Том 25, издание четвертое, 1952 г., стр. 475, сноска 53 к стр. 148 текста: «Торжественное заседание было организовано шведскими левыми социалистами 13 апреля 1917 года в честь Ленина, остановившегося на день в Стокгольме при проезде из Швейцарии в Россию».

«Ленин Владимир Ильич. Краткая биография. Издание второе. Москва, 1955 г., стр. 162: «27 марта (9 апреля) 1917 года Ленин покинул Берн. 31 марта (13 апреля) он прибыл в Стокгольм и в тот же день вечером, не задерживаясь ни одного лишнего часа, выехал в Россию». Курсив наш. — Р е д.

дебному отношению Ленина к Боргбьергу, основывавшемся на политических причинах, прибавилась, по видимому, информация Ганецкого о том, какие именно нити связывали датчанина с Парвусом.

На финской границе английские офицеры отказались дать Платтену разрешение на въезд в Россию, хотя он и объяснил им, что едет к русским родителям своей жены, а заодно хочет получить обратно залог, данный за него в 1906 году, когда он сидел в рижской тюрьме (в двадцать четыре года он участвовал в русской революции 1905-1907 гг).

В конце мая 1917 года Платтен, в связи с острым конфликтом, который у него возник с депутатом парламента Артуром Шмидом, обвинил некоего Лео Вульфсона (члена социал-демократической партии, Цюрих 6, якобы сотрудничавшего с английским посольством в Берне), что последний был информирован о предстоящих Платтену трудностях на границе Финляндии. Однако, спустя три дня, Платтен вынужден был объявить в газете «Фольксрехт» о несправедливости своих обвинений, так как то ли не обладал достаточными доказательствами своей правоты, то ли не хотел раскрывать источники своей информации.

Чтобы доказать свое расположение Платтену, некоторые из его спутников составили заявление о том, что если ему не дадут разрешения въехать в Россию, то и они отказываются от своего. Многие подписали это заявление еще до того, как оно дошло до Ленина. Ленин прочел его, покачал головой и сказал: «Какой идиот составил это заявление?» Подписавшиеся давали этим возможность Временному правительству задержать их на границе. Пристыженные инициаторы признали свою ошибку и уничтожили петицию. После этого Платтену пришлось сесть в сани и отправиться обратно в Хапаранду. Там он два дня ждал, удастся ли Ленину добиться для него разрешения на въезд в Россию, так как

Ленин хотел, чтобы Платтен объяснил это путешествие перед Петроградским советом.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ 1917 г.

Наступал день победы. Что он принесет?

Уже позднее фон дер Планиц заметил, что всё путешествие Ленина прошло в атмосфере почти торжественной и упорной сдержанности. В глазах русской буржуазии их приезд был государственной изменой, и Зиновьев писал, что Ленин повторял в течение всего путешествия, что они прямо попадут в тюрьму. Он был уверен, что его арестуют. И уже будучи в Петрограде, Ленин каждый вечер повторял: «Если они нас не посадили сегодня, значит, это случится завтра».

Некоторые из товарищей выехали встречать Ленина на станцию Белоостров. В 1937 году писали, что среди них был и Сталин; в 1959 году речь уже шла только о «делегации петроградских рабочих». Зиновьев упоминает Сталина вместе с Каменевым. Крупская не упоминает о Сталине ни в сообщении 1924 г., ни в 1933 году. Раскольников описывает, как Ленин тотчас же взял Каменева в свое купе, чтобы резко отчитать его за политическую линию, проводившуюся им в «Правде». Рабочие из Сестрорецка ждали, что Ленин обратится к ним с речью, но пришлось выступить Зиновьеву, так как Ленин все еще был занят «обработкой» Каменева, чтобы вернуть его снова «на верный путь».

В Петрограде большевики организовали торжественную встречу с почетным караулом из матросов 2-го Балтийского флота. Перед вокзалом, после того как Ленин равнодушно принял официальное приветствие меньшевика Чхеидзе и командующего почетным караулом наивного Максимова, он произнес пламенную речь:

«Дорогие товарищи, солдаты, матросы, рабочие! Я счастлив приветствовать вас, всех вас, кто представляет здесь побе-

доносную революцию, и вас, кто является авангардом пролетарской армии мира! Захватническая империалистическая война есть начало гражданской войны в Европе. Недалек тот час, когда народы услышат призыв нашего товарища Либкнехта и повернут штыки против своих эксплуататоров, против капиталистов. Германия уже в брожении! Гибель всего европейского капитализма может наступить ежедневно, если не сегодня, то завтра. Русская революция, которую вы совершили, наносит первый удар по капитализму и открывает новую эпоху. Да здравствует мировая социалистическая революция!*)

По-видимому, упоминание имени Карла Либкнехта на немцев не произвело никакого впечатления, так как на следующий день руководитель немецкой контрразведки в Стокгольме Ганс Штейнвакс с энтузиазмом обратился по телеграфу к высшему командованию со следующими словами:

«Ленин благополучно прибыл в Россию. Он работает целиком согласно нашему желанию!»

Как и большевики, немцы расценивали беспрепятственную реализацию плана переправки ленинской группы в Россию как свой полный успех. На чей же счет в конечном итоге следует отнести этот успех? В заключительном разборе мы займемся оценкой этого путешествия и проанализируем его последствия.

*) Том XX, стр. 712: «...Первое выступление в России на площади у Финляндского вокзала. Вл. И. свою речь с броневика заканчивает лозунгом: «Да здравствует мировая социалистическая революция!»

Текста самой речи, приведенной Н. Ф. Платтенем, нет ни в этом издании, ни в четвертом, как и в книге «Воспоминания о Ленине», том второй. Москва, 1969. Статья М. Г. Цхакая, стр. 378-381. Везде — только заключительный лозунг. Это стыдливое умолчание понятно, так как к моменту издания трудов Ленина его прогнозы оказались совершенно нереальны. — Р е д.

ИТОГИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЫ

«Шпионы и изменники», — так ругали Ленина и Зиновьева, когда они со своим жалким багажом шли по цюрихскому вокзалу, чтобы погрузиться в поезд и отправиться через Германию на родину.

«Шпионы и изменники», — так ругала русская буржуазия Ленина и Зиновьева на петроградских бульварах, когда после июльских демонстраций 1917 года они вынуждены были временно перейти на нелегальное положение.

«Шпионы и изменники», «враги народа», «изменники родины», «сторожевые псы гестапо!» — кричал небольшой коренастый человек в зале, где в конце августа 1936 года собрался московский партийный актив большевиков; тут же, вместе с Зиновьевым и Каменевым, он назвал Троцкого, Бухарина и Рыкова. Человек этот, который вел себя так бурно, был Хрущев, начавший в те годы, при Сталине, свой головокружительный подъем на партийные высоты...

СУДЬБЫ СПУТНИКОВ ЛЕНИНА

Молодой Усиевич был убит в 1919 г. в ожесточенных оборонительных боях против Белой армии адмирала Колчака во время гражданской войны в Сибири. В 1920 году умерла от тифа*) Инесса Арманд. Ее внезапная кончина страшно поразила Ленина, хотя в вопросе Брест-Литовского мира Инесса, вместе с «левыми коммунистами», стала на сторону Бухарина, Пятакова и Радека. При ее погребении Ленин не мог скрыть своей глубокой скорби.

Террор, начавшийся в связи с убийством Кирова, после XVII съезда ВКП(б) — сомнительного «Дня по-

*) См. в БСЭ, т. 3: «Умерла от холеры во время поездки на Кавказ». — Р е д.

беды партии», когда 70 процентов состава Центрального комитета, избранного на этом съезде, и 1108 из 1966 делегатов съезда попали в Великую чистку, — потребовал своих жертв также из числа выдающихся спутников Ленина. Первой жертвой оказался занимавший в те годы пост главного редактора «Ленинградской правды» Сафаров. Он был одним из главных свидетелей обвинения против Зиновьева на процессе 1935 г., проходившего при закрытых дверях, а затем и сам бесследно исчез вместе со своей женой. Зиновьев был приговорен тогда к 10 годам тюрьмы. Однако уже 23 августа 1936 года, во время первого «Московского процесса», его обвинили в попытке убить (якобы по поручению Троцкого) Сталина, Кагановича, Ворошилова, Орджоникидзе, Косиора, Постышева и Жданова, приговорили к смертной казни и тотчас же расстреляли. Его жена, Зинаида Радомысльская*), его сын (маленький Роберт в нашем поезде) и вся его родня исчезли в лагерях.

Среди расстрелянных по этому процессу нас еще интересуют Валентин Ольберг и Гольцман. Валентин был братом Пауля Ольберга, свидетеля прибытия Ленина в Стокгольм. Его обвиняли, во-первых, в том, что он незаконным образом, с гондурасским паспортом, выхлопотанным для него Паулем в гестапо, въехал в Советский Союз; и, во-вторых, в том, что цель его поездки — была подготовка террористических актов по наущению Троцкого. Что касается Гольцмана, то это, очевидно, именно тот Гольцман, который весной 1919 года в качестве представителя будущей Советской миссии, под руководством Берзина и Шкловского, прибыл в Швейцарию для установления контактов, — ибо ни Шкловский, ни Берзин не пережили Великой чистки...

Вскоре затем был арестован Радек, после того как ему дали возможность на страницах «Известий» пре-

*) См. БСЭ, 1932 г. — см. «Зиновьев». — Ред.

дать анафеме Зиновьева. 31 января 1937 г. Радек и Сокольников (тогдашний заместитель министра иностранных дел) на втором «Московском процессе» были объявлены немецкими и японскими шпионами и как подготовлявшие захват власти маршалом Тухачевским приговорены каждый всего лишь к десяти годам тюрьмы. Радек умер в 1939 году, Сокольников — два года спустя.

Летом 1936 года и жена Ленина, Крупская, оказалась в опасности, потому что она якобы протестовала против расстрела Зиновьева. Эти попытки шантажа Крупской могли происходить в связи с дружбой между Лениным и Инессой Арманд; еще в 1922 и 1923 гг., из-за грубого вмешательства Сталина в личную жизнь Крупской, возникли разногласия между Лениным и Сталиным. Сестры Ленина умерли в 1935 и в 1937 гг., Крупская — в 1939 году; все они были похоронены Сталиным с почестями...

На суде Радек показал, что его не пытали, но Вейсберг в своем «Шабаше ведьм» (ключевом произведении об этой эпохе) описал, как следователь угрожал ему прикончить его так же, как Радека, Пятакова и Муравьева. Расправились и со спутником Ленина Розенблумом (Фирсовым). После страшных пыток следователь предложил ему взять на себя роль лжесвидетеля на показательном процессе:

«Если вас поймают на лжи или фальшивых показаниях, пеняйте на себя. Если же выдержите, спасетесь, мы будем до конца вашей жизни заботиться о вас за счет правительства».

Хрущев не упоминает, «выдержал ли» Розенблум; по-видимому, он был расстрелян.

После третьего «Московского процесса» весной 1938 года был арестован Платтен и обвинен на основании показаний бывшего начальника НКВД Ягоды, который признался, что посылал Троцкому деньги по требованию Енукидзе через Абрамова-Мирова. Этот Аб-

рамов-Миров был начальником последней жены Платтена — Берты. В круг ее обязанностей входил контроль над коммунистами, находившимися на закрытой работе в социал-демократических партиях Запада. Она была арестована после первомайских праздников 1937 года и вскоре после этого расстреляна, а в 1956 году по-смертно реабилитирована маршалом Булганиным, тогдашним председателем Совета министров. Одновременно был реабилитирован и Платтен, скончавшийся от сердечного приступа 22 апреля 1942 года, в возрасте 58 лет, в концлагере, среди убийц и уголовных преступников.

Таким образом, из участников ленинского путешествия жертвами Великой чистки оказались: Сафаров с женой, Зиновьев с женой и сыном, Радек, Сокольников (Бриллиант), Розенблюм (Фирсов), Платтен, а также и Крупская; то есть десять человек из тринадцати (только об этих десяти, к сожалению, и удалось получить сведения). Это обстоятельство не следует упускать из виду, ретроспективно занимаясь проездом Ленина через Германию.

ОТСУТСТВИЕ У ЛЕНИНА ОБЩЕПРИНЯТОЙ МОРАЛИ

Эта характеристика Ленина принадлежит Платтену. Не успел еще Платтен вернуться с севера, как Мюнценберг, с благословения Ромберга, австрийского военного атташе барона фон Хеннета и германского военного атташе Бисмарка, с согласия германского генерального штаба, отправился в Стокгольм на конгресс основателей левой социалистической партии Швеции, так как он, согласно телеграмме Ромберга, «собирался действовать в целях мира»! Второй его проезд на тех же льготных условиях состоялся в августе 1917 года.

26 апреля 1917 года, еще до возвращения Платтена,

Ромберг послал к Бетману-Гольвегу курьера с копией первого отчета о путешествии, составленного Лениным.

«Это не частное, а партийное письмо, — сообщал Ромберг, — доклад будет доставлен мне до вечера в понедельник с точным переводом на немецкий язык».

Моя мать работала тогда в секретариате швейцарской партии и как русская, вероятно, переводила это письмо. Письмо Платтена к Гильбо о том, что при установлении официальных отношений между Швейцарией и Советской Россией жена Платтена намечалась в качестве консула в Цюрихе, доказывает, что Ленин знал о ее работе. Она работала с августа 1918 года в советской миссии в Берне до ее ликвидации, но не была выслана с остальными работниками миссии, т. к. из-за своего брака стала швейцарской подданной.

Вернувшись из Хапаранды в Стокгольм, Платтен возобновил связь с немецким послом, который сообщил в Берлин, что Платтен перейдет 21 апреля границу в Заснице и намеревается провести несколько дней в Берлине. Теперь уже невозможно установить, как долго Платтен пробыл в Берлине — во всяком случае, не меньше четырех-пяти дней. Цель его пребывания также неизвестна. Может быть, он хотел войти в контакт со Спартакусом, или с Парвусом, или с германским правительством?

30 апреля Платтен уже вернулся и мог с удовлетворением убедиться в том, что другие группы эмигрантов волей-неволей вынуждены были отправиться через Германию по стопам Ленина. В этот же день он посетил Ромберга, и курьер доставил Бетману-Гольвегу следующий доклад Ромберга об этом странном разговоре:

«Господин Платтен поблагодарил меня от имени русских за оказанную им помощь. Сторонники Ленина устроили ему восторженный прием. Можно смело сказать, что три четверти петроградских рабочих на стороне Ленина. Сложнее обстоит

дело с пропагандой для солдат(!)*), среди которых всё ещё очень распространено мнение, что немцы собираются напасть на русскую армию. Еще совершенно неясно, как революция будет развиваться дальше(!). Быть может, достаточно было бы заменить Милюкова и Гучкова социалистами. Во всяком случае, совершенно необходимо увеличить число убежденных(!) сторонников мира путем их подвоза из-за границы, поэтому он рекомендует пойти, по возможности, навстречу и Ленину с его товарищами, и тем эмигрантам, которые готовы к отъезду. Следовало бы действовать как можно быстрее, т. к. есть опасения, что Антанты станут оказывать давление на швейцарское правительство, чтобы оно запретило выезд. В Германии также находится известное число революционеров, отправка(!) которых в Россию весьма рекомендуется. Он мне еще сообщит их имена.

Из замечаний Платтена видно, что эмигрантам весьма недостает средств на пропаганду(!), в то время как их противник, естественно, располагает неограниченными средствами. Я стараюсь выяснить через одно доверенное лицо (!) весьма деликатный вопрос — существует ли возможность снабдить их средствами таким образом, чтобы не шокировать(?) их. Пока я был бы благодарен за сообщение по телеграфу о том, не получают ли уже революционеры финансовую поддержку каким-либо другим путем».

Граф Пурталес снабдил этот рапорт пометкой на полях, что он с Ромбергом все обсудил и вследствие этого последний вопрос улажен. Когда я, работая в союзном архиве, держал в руках паспорт моего отца и увидел, что он, между прочим, за два дня до общей забастовки достал визу в Австрию на десять дней «для переговоров с государственным секретарем», я понял, что бессмысленно не считаться с правдой этих фактов.

*) Восклицательные и вопросительные знаки, взятые в скобки, в тексте цитат здесь и в дальнейшем принадлежат Н. Ф. Платтену. — Р е д.

Прямым следствием зондирования почвы у Ромберга было то, что, при содействии барона фон Рихтгофена и с разрешения болгарского правительства, из Софии безвозмездно был отправлен в Россию, через Австро-Венгрию и Германию, транспорт, состоявший из 35 человек, «всех без исключения принадлежавших к циммервальдскому направлению». Среди них были Кинкель (переводчик Ленина в Берне в 1915 году) и Семашко!

ЛЕНИНСКИЕ МЕТОДЫ ДОБЫВАНИЯ СРЕДСТВ

Попробуем изложить кратко: в 1908 году Ленин организует в Женеве издание газеты «Пролетарий» и вызывает своего специалиста по транспорту Пятницкого. Последний поселяется в Лейпциге и организует испытанные уже способы отправки через немецкую границу. Позднее Пятницкий играл важную роль в Коминтерне, однако и он не пережил Великой чистки. Еще одним свидетелем стало меньше.

«В июле 1907 года, — я цитирую Крупскую, — большевики считали допустимым конфискацию царских государственных средств и разрешили экспроприацию» (имеется в виду вооруженный налет на родине Сталина в Тифлисе на денежный транспорт*). При неудавшейся попытке разменять одновременно в разных городах банкноты в пятьсот рублей были арестованы: Камо — в Берлине, Ольга Равич (из ленинского транспорта) — в Москве, один латыш, член цюрихской группы, — в Стокгольме и Семашко — в Женеве.

«Швейцарские обыватели были смертельно перепуганы, — писала Крупская, — когда Миша Цхакай посетил нас в первый раз; наша хозяйка так перепугалась его кавказского вида, что твердо поверила, что он, и никто другой, должен быть экс-

*) Государственного банка. — Ред.

проприатором». (Миша тоже вернулся в Россию с ленинской группой).

«Швейцарская партия была тогда настроена архи-оппортунистически, и швейцарские социал-демократы говорили в связи с арестом Семашко¹³⁾, что Швейцария — самая демократическая страна в мире, что их юриспруденция стоит весьма высоко и что они не потерпят на своей территории никакого преступления против собственности».

Благодаря вмешательству Максима Горького (ликвидированного с помощью врачей во время Великой чистки), Семашко вскоре оказался на свободе. Этот человек, о котором немцы знали всё, был по желанию Ленина отправлен в Россию как некая драгоценность! Я вспоминаю также упорную борьбу Ленина за так называемое наследство Шмидта¹⁴⁾. Ленин мог целиком и полностью подписаться под словами своего американского биографа Поссоки:

«Организационные вопросы не менее важны, чем идеи, и когда политические интеллектуалы с пренебрежением относятся к финансовым проблемам, следовало бы им подумать об исторических примерах, показывающих, как часто дух без денег остается бездейственным. Революционная стратегия и тактика требуют открытых массовых действий, которые, однако, немислимы без секретных операций, всегда стремящихся завуалировать участвующих в них лиц».

Ленин был кем угодно, но только не мечтательным политическим интеллектуалом.

¹³⁾ Том 34, стр. 328-329. Письмо Ленина от 2. II. 1908 г. к Горькому по поводу ареста Семашко. — Р е д.

¹⁴⁾ Е. Ш а р г и н. «Ленин и наследство Шмидта». «Посев» 1968 г., № 5, стр. 55-57, а также — L. H a a s. «Lenin. Unbekannte Briefe. 1912-1914». Benzinger Verlag. Einsiedeln, Zürich, Köln, 1967. — Р е д.

НАЧАЛОСЬ УЖЕ В 1914 ГОДУ

Восточногерманский историк Рейсберг (автор интересной работы о Ленине и Циммервальдской левой, в списке которой очень много вычеркнутых по-орвелловски из истории людей, превращенных Райсбергом снова из контрреволюционеров и шпионов в революционеров) ожесточенно борется против утверждения, что Ленин был послан в Россию немцами; однако первый, кто это утверждал, был Людендорф! Рейсберг борется также и против утверждения, что большевиков финансировали немцы:

«Вскрытие немецких архивов доказало несостоятельность этой клеветы... а агенты германского правительства потерпели полную неудачу в своих попытках войти в связь с Лениным».

То ли Рейсберг не читал немецких документов, то ли занимается подделкой истории. Смешно цитировать только «Griff nach der Weltmacht»*) Фишера и замалчивать таких авторов, как Вернер, Хальвег, Винфрид Шарлау, Збынек Земан и Джордж Катков.

Ленин в своих методах был беззастенчив и, когда это было нужно, мог спокойно шагать через трупы. Он был самым последовательным защитником своего же учения, что «враг находится в своей собственной стране», и стоял «за разгром отечественной буржуазии». Это было для него не теоретической формулой для успокоения своей совести, а руководством к действию. Как только Ленин в сентябре 1914 года, с помощью Виктора Адлера, Германа Грэйлиха и Карла Моора, приехал в Швейцарию и провел вблизи Берна свою знаменитую «Лесную конференцию»¹⁵⁾ (почти все ее участники погибли во время Великой чистки), его доверенный Кескюла обратился к Ромбергу с запросом, нет ли опасно-

*) «Попытка захвата мировой власти». — Ред.

¹⁵⁾ Том 21, стр. 1, сноска ¹⁾ на стр. 417. — Ред.

сти, что Германия пойдет на мирные переговоры с Россией, если та, вследствие внутренних трудностей, начнет их, и не будут ли, таким образом, русские революционеры брошены Германией на произвол судьбы. Россия как раз тогда проиграла битву при Танненберге, и немцы ожидали ее поражения в районе Мазурских озер; битва на Марне была еще в разгаре. Год спустя тот же доверенный возобновил связь с Ромбергом и передал ему искусно составленное резюме ленинской программы действий — за две недели до того, как оно появилось в № 47 «Социал-демократа». Кескюла неверно изображается эстонским патриотом; во всяком случае, в то время он был членом большевистской партии. Он не работал бесплатно — от офицера разведки Штейнвакса — только за период с марта по июнь 1916 года — он получил 70 000 марок, из которых в числе прочего финансировал издание антивоенной брошюры Бухарина, да так, что последний ничего не узнал об источнике средств. Ленину отнюдь не надо было больше бороться, как писал Пианцола, «с 180 франками против всех империалистов мира».

Имеются также указания на связь Ленина с немецким агентом Вейсом (он же Цивин) через Карла Моора.

«4 или 5 августа 1916 года Ленин писал Шкловскому:

«Добыли ли от Моора печатный экземпляр 'бумаги' по делу Z? Это необходимо. Не забудьте! Надо добыть во что бы то ни стало, а то потеряет, мерзавец!

Что давненько не было отчета о деньгах? Или уже такая масса привалила, что не сосчитать?»¹⁶⁾

Издатели сочинений Ленина снабдили букву Z примечанием: «О ком идет речь, не установлено. Ред.»¹⁶⁾.

Мы уже познакомились с важной ролью Цивина в осуществлении ленинского путешествия. После захвата власти большевиками, мы снова встречаем Вейса в качестве связного в Петрограде (Цивин, как и Моор,

¹⁶⁾ Том XXIX, стр. 272. — Р е д.

работал для Австрии). Позже он, согласно Каткову, примкнул к большевикам.

Ленин писал Карпинскому:

«...нам очень помогли товарищи в Стокгольме»¹⁷⁾.

Это указывает на треугольник: Ганецкий — Кескюла — Парвус, и возникает принципиальный вопрос — откуда Ленин знал адрес Георга Скларца? Ленин, правда, отказал Парвусу в свидании в 1915 году в Берне, когда тот явился к нему при посредничестве немецкого агента Зифельда. Отказ произошел потому, что Парвус как немецкий социал-патриот (недаром он позднее получил прусское подданство) считал, что в Германии во время войны не произойдет революция, которая, однако, возможна в России и именно в результате немецких побед (!); Парвус охарактеризовал Ленина как фантазера,

«мечтающего об издании социалистического журнала, с помощью которого, как он воображал, можно будет немедленно выгнать европейский пролетариат из окопов и загнать его в революцию».

Ленин резко отмежевался от Парвуса в 48 номере «Социал-демократа», назвав его морально опустившимся подхалимом Гинденбурга, уверявшим своих читателей в том, что «немецкий генеральный штаб выступает за революцию в России» и так далее. Однако шестнадцать месяцев спустя Ленин сам обратился к Парвусу и согласился на организацию своего проезда в Россию Людендорфом.

КАК СОСТОЯЛОСЬ ПУТЕШЕСТВИЕ ЛЕНИНА В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Первый свой шаг в отношении запланированного им нелегального проезда Ленин сделал не по диплома-

¹⁷⁾ Том 35, стр. 254. — Р е д.

тическому пути, к Ромбергу, а по конспиративному — через Ганецкого — Скларца — Парвуса — Людендорфа. Тем временем Гримм 23 марта установил контакт с Ромбергом через федерального советника Гофмана*), и, когда Скларц приехал в Цюрих, Ленин объяснил ему, что нелегальный путь невозможен, потому что он его скомпрометирует. Скларц несколько раз ездил из Цюриха в Берн, и условия проезда были выработаны. Кстати, Скларц был в Цюрихе не 27, а 25 марта. Этим объясняется, почему Ленин уже 25 марта мог спросить Карпинского, поедет ли он тоже в Россию, если... и т. д.¹⁸⁾. 27 марта Скларц вернулся в Берлин, чтобы ознакомить генеральный штаб с контрпредложением Ленина. Но генеральный штаб одобрил это предложение еще до того, как оно дошло до него дипломатическим путем через Ромберга и Бетмана-Гольвега. Таким образом, это был успешный ход Людендорфа, но отнюдь не Бетмана-Гольвега, хотя последний и претендовал на лавры у императора Вильгельма. Когда 27 марта в газете «Фольксрехт» был опубликован призыв организовать комитет возвращения, Ленин фактически уже имел немецкое разрешение в кармане! Хотя Ромберг и знал об этом, он ничего не мог форсировать, так как должен был соблюдать дипломатический этикет. Ленин окончательно порвал с Гриммом 31 марта, но всё еще колебался; кроме того, он должен был ждать решения генерального штаба. Этим объясняются его неоднократные перемены дат отъезда: 31 марта он объявил — мы едем немедленно; 3 апреля — мы едем 4 апреля; 6 апреля — мы уезжаем 7 апреля, и, в конце концов, несмотря на нетерпение Ленина, отъезд состоялся лишь 9 апреля. Крупская объясняла отсрочку пасхальными днями, однако мы видели, какой работой по ночам был

*) Том 23, стр. 355, п. (1): «...переговоры велись тов. Р. Гриммом с одним членом правительства нейтральной страны, министром Гофманом...». — Ред.

¹⁸⁾ Том 35, стр. 247. — Ред.

занят Ромберг. Для маскировки этой специальной миссии Платтену было поручено достать в Женеве свой визированный паспорт, а срок отъезда держался в секрете до последнего дня. Группа Ленина была однородной; он сам подтвердил, что она состояла из 19 большевиков, 6 бундовцев и 3 приверженцев Троцкого. Сегодня в Восточной Германии говорят о 21 большевике; я насчитал 26. Ленину ловко удалось помешать социалистам-революционерам ехать с ними. Чтобы замаскировать поспешность этого транспорта, Платтен дал ложное показание, что заседание в «Айнтрахт»*) и разрыв с Гриммом состоялись 28 марта! Все участники этого заседания погибли во время Великой чистки: Зиновьев с женой, Бронский, Крупская, как и самые ближайшие соучастники — Радек, Платтен и Мюнценберг. Так были замечены следы. Мюнценберга задушили в окрестностях Гренобля, после того как он в 1938-39 гг. отказался ехать в Москву для неминуемой ликвидации. Последний свидетель был мертв!

Ленин мог бы порвать с Гриммом уже 28 марта, но он вынужден был ждать официального немецкого согласия на предполагаемый обмен пленными. Ленин знал от Ромберга через Пауля Леви, еще раньше Гримма, что проезд будет разрешен. В газете «Последние Новости**») от 2 марта 1930 г. Леви сообщил следующее:

«Посланник обещал достать инструкции из Берлина. Следующим вечером, когда я был в Народном Доме, меня вызвали к телефону. Я услышал голос германского посланника: 'Я вас искал по всему городу, — сказал он, — как я могу связаться с Лениным? Я каждую минуту ожидаю последних распоряжений об отъезде'. Я удивился поспешности, проявленной посланни-

*) Название ресторана. — Р е д.

**») «Последние Новости» — крупная ежедневная газета умеренно-левой части русской эмиграции, редактировавшаяся П. Н. Милюковым в Париже. Выходила до оккупации Франции нацистами в 1940 г. — Р е д.

ком. По тону его голоса я понял, что Берлин считал это дело очень срочным».

Министерство иностранных дел медлило. И на него, чтобы заставить его поторопиться, в начале апреля было оказано давление непосредственно из генерального штаба — по линии Адольфа Мюллера через Тройтлера и со стороны Брокдорфа-Ранцау через Парвуса и статс-секретаря Циммермана. Объяснение Платтена с Ромбергом 4 апреля было лишь формальностью, необходимой для сохранения взаимного престижа. Как писал Платтен, Ленину, конечно, были совершенно ясны мотивы его противников, но для революции Ленин готов был пройти через ад, или, по словам Платтена,

«Ленин никогда не играл роли политической классной дамы... (и действовал. — Ред.) по принципу 'цель оправдывает средства'..!»

Я считаю невозможным, чтобы Ленин во время проезда через Германию установил связь с немцами. Этому не существует никаких доказательств. Напротив, твердо установлено, что 13 апреля Ленин был в Стокгольме. Датская газета «Политикен» от 14 апреля опубликовала сообщение своего корреспондента из Стокгольма, согласно которому Ленин вечером 13 апреля проехал дальше! Таким образом, у Ленина было полных 24 часа для махинаций Радека и для того, чтобы заключить известные соглашения с Парвусом. Распространившееся тогда в мировой прессе и инспирированное немцами сообщение, что Ленин через четырнадцать дней вернется в Стокгольм во главе комиссии для мирных переговоров — просто анекдот! Известно, что Парвус позднее возложил ответственность за невыполнение его соглашения на Радека. Но лучше бы Парвус помалкивал. Его статья «В борьбе за правду», в которой он пытается себя оправдать, — классическое доказательство того, как Ленин держал его в руках. Утверждения Парвуса, будто

«Троцкий взял на себя роль Иванушки-дурачка...» и что будто бы «Россия могла добиться гораздо более выгодных условий мира, если бы этому не помешала бессмысленная и задиристая тактика большевиков» —

приводится им для того, чтобы оправдать насильственный империалистический Брест-Литовский мир, и показывают лишь его непомерную лживость и наглость.

Ленину, конечно, было вполне ясно, с кем он имел дело. Программа Брокдорфа-Ранцау была ясна:

«Мы непременно должны добиваться создания в России возможно большего хаоса. Мы должны сделать всё возможное, чтобы углубить противоречия между умеренными и экстремистскими партиями, т. к. мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы последние взяли верх (!), ибо тогда переворот неизбежно примет такие формы, которые потрясут все основы русской империи. Поощрение крайних элементов обеспечит более решительные действия и приведет к скорейшей развязке».

Он рекомендовал Циммерману, обеспечивая в последний момент свой собственный успех, принять Парвуса, хотя тот «по своему характеру и репутации (!) не всеми своими современниками расценивается одинаково высоко»! Программа Парвуса — Ленин называл ее клоакой немецкого шовинизма — соответствовала этому определению:

«Борьба противоположных интересов потрясет Россию до самого основания. Крестьяне силой отберут землю у аристократии, солдаты (крестьянского происхождения. — Р е д.) толпами побегут из окопов, чтобы обеспечить свою часть в земельном разделе, солдаты из пролетариата восстанут против своих дворянских офицеров и перестреляют своих генералов. Украинцы, кавказцы и литовцы освободятся от ига Москвы, и централизованная структура государства будет разрушена. Кроме того, угроза голода доведет массы до величайшего ожесточения».

Парвус верил, что через два-три месяца можно будет достигнуть самой ужасной анархии и рекомендовал сразу же после этого начать наступление, захватить Украину и этим сделать страну беззащитной. Он проповедовал решительное наступление, оккупацию и обезоруживание России, иначе

«эта огромная империя без сомнения вскоре вырастет в новую могущественную военную державу, враждебность которой тем будет опасней, чем больше ей будет нанесено ран (!) сейчас».

Таковы были ни перед чем не останавливающиеся партнеры Ленина в этой всемирно-исторической борьбе между империализмом и мировой революцией, и, невзирая на это, Ленин пошел с ними на сделку.

КАРЛ МООР — ПРОВЕРКА НА ДЕЛЕ.

Нет смысла разбирать жалкую попытку русской буржуазии изобразить Ленина немецким агентом и шпионом. Я показал достаточно ясно и четко, что цель Ленина была мировая революция! Нет также нужды опровергать примитивно подделанные американские сисоновские «документы». У Ленина, по существу, было только два принципиальных критика его азартной игры с немцами: стоявший выше своих современников Максимилиан Гарден (Исидор Витковский), страстный борец против возрождения германского империализма; и вождь немецкого реформизма Эдуард Бернштейн, который упрекал свою буржуазию в том, что она финансировала большевиков в размере 50 миллионов. Не случайно правые круги покушались на жизнь Гардена, а Геббельс, бывший тогда на поводе у обманчивого национал-большевизма, ненавидел его даже после его смерти. Гарден писал:

«Никогда еще история не проявила остроумия столь высокого стиля: все волнения и лихорадки всех социалистических

партий земного шара не сделали для революции и сотой доли того, что сделал для нее прусский генерал Людендорф».

Платтен, испуганный иронией Гардена, описал, как Ленин в Кремле снял всю сенсационность с тайны своих отношений со Скларцем и Парвусом. Но разговора с Лениным по этому поводу просто не было, так как в то время, о котором утверждалось, что такой разговор был, статья Гардена вообще еще не была опубликована!

В свое время коммунисты ожесточенно нападали на Бернштейна. Когда же он довел дело до процесса, коммунисты в рейхстаге ограничились разговорами по поводу государственного(!) заявления Симонса о том, что в актах якобы не было найдено никакого указания(!) на получение денег Лениным или Троцким. Однако как только Ленин обосновался в Петрограде, он написал Ганецкому:

«До сих пор ничего, ровно ничего: ни писем, ни пакетов, ни денег от Вас не получил».

И в конце письма он предостерегает:

«Пишите чаще, будьте архиаккуратны и осторожны в сношениях. Ваш В. Ульянов»¹⁹⁾.

Вскоре после этого Моор появился в Стокгольме. Он выступил в качестве судьи Гримма в Циммервальдской комиссии; поддерживал контакт с немецким агентом Нассе и посылал Хеннету в Вену отчеты о Циммервальдском движении. Он был двойным агентом в квадрате — работал для Германии, Австрии и Швейцарии, а позднее — и для Советской России. Нассе 9 мая 1917 года рекомендовал его Ромбергу под кличкой «господин Байер» в качестве посредника для передачи немецких денег Ленину через Шкловского.

¹⁹⁾ Том XXIX, стр. 354-55. — Р е д.

Неудивительно, что Ленин в конце августа писал из своего глубокого подполья:

«Но что за человек Моор? (причем он знал его уже с 1912 года — Н. Ф. П.). Вполне ли и абсолютно ли доказано, что он честный человек?.. я очень и очень просил бы, убедительно просил бы, настойчиво просил бы принять все меры для строжайшей и документальной проверки этого (связей с социал-империалистами — Н. Ф. П.). Тут не должно быть места ни для тени подозрений, нареканий, слухов и т. п.»²⁰⁾.

И всё это после того, как он спросил:

«Каковы денежные дела заграничного бюро, назначенного нашим Центральным Комитетом?»²¹⁾

Ленина интересовало только одно, чтобы Моор не имел никаких связей с социал-патриотами, о его же контактах с империалистами не было и речи.

Позже мы встречаем Моора, опекающего Мюнценберга в тюрьме Витцвиля; и, конечно, не случайно, когда Платтен вез Мюнценберга на немецкую границу после его высылки (из Швейцарии. — Р е д.), им в Зингене заметно помогал немецкий военный атташе; не случайно и то, что Ромберг, Адольф Мюллер, Брокдорф-Ранцау, адмирал Хинце, Луциус и другие не только сохранили свои места после немецкой ноябрьской революции, но даже получили повышения. Моор заботился и о Платтене, когда тот был арестован в Литве, но главным образом он был ангелом-хранителем Радека, когда последний был арестован в Берлине после своей попытки активно вмешаться в немецкую революцию.

²⁰⁾ Том 35, стр. 259. Письмо Ленина «Заграничному бюро Центрального Комитета от 17/30 августа 1917 г. Отправлено со станции Разлив в Стокгольм». — Р е д.

²¹⁾ Там же. — Р е д.

Осенью 1919 года швейцарский посланник фон Планта сообщает:

«Моор прибыл сюда из России весной, в сопровождении госпожи фон Вебер и обоих ее детей, после того как он провел некоторое время в Стокгольме. Теперь он живет в отеле «Эспланада» в Берлине. Госпожа фон Вебер — русская. Моор рассказывает, что он освободил из тюрьмы ее мужа, русского морского офицера, ныне находящегося в Петрограде. Госпожа фон Вебер в известном смысле играет роль его личной секретарши — занимается всей его русской корреспонденцией. Она весьма импозантна и носит бросающиеся в глаза драгоценности. Тот факт, что Моор имеет свободный доступ в тюрьму к г-ну Радеку и может свободно играть в данном случае роль посредника, заставляет предполагать, что правительственные круги в Берлине относятся к этому посредничеству по меньшей мере не враждебно».

Позднее Моор, по приглашению Ленина и Елены Стасовой, прожил несколько лет в Советском Союзе, а затем вернулся в Берлин, чтобы конец своей жизни провести в вилле, которая, по всей видимости, находилась под наблюдением. В 1932 году Коминтерн приветствовал его торжественным адресом:

«Товарищу Моору, испытанному борцу швейцарского и международного пролетариата, верному (!), беззаветно преданному другу русской революции посылаем мы наши сердечные пожелания к 74 дню рождения — Николай Бухарин (расстрелян), Клара Цеткин (ее труды фальсифицируются), Герман Реммеле (жертва Великой чистки), Джон Пеппер, Бёрч, Эрнст Тельман (которого, не в пример какому-нибудь Матиасу Ракоши, оставили в руках нацистов) и Сталин!»

Каков же был конец дорогого друга?

Карл Моор благополучно скончался в 1932 году, причем мюнценберговская «Арбайтер иллюстрирте цайтунг» посвятила ему трогательный некролог. Что случилось с г-жей фон Вебер, я не знаю, но о ее сестре

сообщает Сюзанна Леонард в своей книге «Украденная жизнь»:

«В разговоре с г-жей Ламиной в лагере Адак я снова убедилась в том, как мал мир. Сестра г-жи Ламиной, некая г-жа фон Вебер, была женой Карла Моора, друга Карла Радека. Миллионер Моор играл большую роль в немецкой коммунистической партии в Берлине в 1919-20 гг. В роскошной обстановке целой анфилады комнат в отеле «Эспланада» я познакомилась с увешанной бриллиантами г-жей Вебер, а сестру ее встретила здесь, в советском концентрационном лагере!»

Длинная рука НКВД проделала основательную работу — Мюнценберга задушила во Франции, а родственников Моора посадила в лагерь! Почему Сталин изменил свое мнение о Мооре?

Связи Ленина с немцами не ограничились платоническим проездом через Германию. Немецкие средства текли обильно, как в этом признался Кюльман в своем мемориале императору Вильгельму Второму:

«Только те средства, которые постоянно поступали большевикам по разным каналам и разными способами с нашей стороны, помогли им развить их главный орган 'Правду' и расширить вначале узкую базу их партии».

Не случайно Ленин указывает на этот факт в сноске к письму из подполья в Финляндии:

«17 ежедневных газет; 1 415 000 экземпляров общий тираж в неделю; 320 000 в день»²²⁾.

И это написано в том же письме, в котором он требует тщательного надзора за Моором.

Совместная работа с немцами проявила себя и в другой области. Ленин настаивал в том же письме на опубликовании брошюры

²²⁾ Том 35, стр. 260, сноска в письме. — Ред.

«о тайных дипломатических договорах России: кратко, точно, факты, факты. Такой-то договор такого-то числа, месяца, года, содержание то-то. Перечень договоров. Сводка. Коротче и фактичнее»²³).

Откуда, однако, у Радека могли быть эти тайные договоры, которые были опубликованы лишь после захвата власти большевиками? По этому поводу нам дает разъяснение «Фольксрехт»:

«Ленин обладает официальными русскими документами» — говорится в сообщении стокгольмского корреспондента берлинской газеты 'Морген' от 30 мая 1917 года. Он пишет: 'Вчерашний номер 'Социал-демократа' опубликовал сенсационное сообщение о том, что приехавшая из Англии(!) домой ленинская группа привезла важные материалы... документы, касающиеся русско-английско-японского договора о разделе Китая и официальные документы о европейской политике. Эти документы будут опубликованы(!)... Вожди твердо убеждены, что удастся воспрепятствовать дальнейшей зимней кампании'».

По-видимому, Ленин должен был уплатить по векселям. Его поведение во время подготовки насильно навязанного немцами Брест-Литовского мира задает много загадок. Сфабрикованные при издании ленинских сочинений фальсификации требуют самого тщательного научного исследования, ибо — Брест-Литовск, споры о войне или мире, о подписании диктата или революционной войне (как бахвалился Ленин в своем «Прощальном письме к швейцарским рабочим»!) — всё это привело к гибели старой большевистской гвардии.

Как далеко зашло сотрудничество Ленина с немцами? Хараш докладывал об этом в своем меморандуме Политическому департаменту (впоследствии он был опубликован весной 1921 г. в NZZ*) следующее:

²³) Том 35, стр. 263, P. S. — Р е д.

*) «Neue Zürcher Zeitung». — Р е д.

ИЗ ЗЕРКАЛЬНОГО ПЕРЕУЛКА В КРЕМЛЬ

«Госпожа Долина (посредница через Бронского между Скларцем и Лениным) была замужем за русским эмигрантом, поступившим в начале войны на немецкую службу и много раз проделавшим путешествие между Швейцарией и Константинополем (опорная точка Парвуса) с поручениями устраивать восстания, потопить русский военный корабль «Мария»*), благодаря которому русский Черноморский флот удерживал свое превосходство над турецким, и подготовить покушение на Сазонова**). Корабль «Мария» действительно потонул по неизвестным причинам, о покушении же на Сазонова ничего неизвестно, однако имеются данные о покушении на его первого заместителя Нератова. Когда в России, после февральской революции, были вскрыты государственные архивы, Долин был настолько скомпрометирован, что застрелился в Одессе».

Долин — организатор саботажа на Черном море, фон Вебер — морской офицер в Петрограде, адмирал Хинце, о котором тогдашняя газета «Фольксрехт» сообщила, что он был в Петрограде в 1914 году хорошо информированным морским атташе и что его назначение статс-секретарем по вполне понятным причинам горячо приветствовалось, — не заставляет ли всё это призадуматься? Почему расстреляли вместе с красными маршалами адмирала Орлова? Вопросы за вопросами!

ГЕРМАНИЯ — ПРОСЧЕТ ЛЕНИНА

Революционные планы Ленина на Западе не оправдались, но со свойственным ему упорством он последовательно вел свою политику. Его не образумили ни Брест-Литовск, ни убийство Либкнехта и Люксембург. В берлинской тюрьме Радек написал превосходную бро-

*) Броненосец «Императрица Мария». — Ред.

***) Сазонов С. Д. — министр иностранных дел России. — Ред.

шюру о мировой революции, которая была одновременно и обращением к руководящейся здравым смыслом буржуазии. Среди посещавших его (в тюрьме) числятся Хинце и барон фон Рейбниц, друг юности Людендорфа!

Во время переговоров о Версальском мире Ленин послал Моора с письмом к Брокдорфу-Ранцау. Во время рурского восстания (в 1920 г. — Ред.), Лео Шлагеттер почитался героем. Эта политика продолжалась и после смерти Ленина: недооценка национал-социализма (Радек: «Господин Людендорф и господин Гитлер объявили борьбу за власть... но всё это только пустые разговоры, которые прекратятся в тот день, когда они достигнут власти... они марионетки, которых дергают за веревочку короли угля и стали... даже если им удастся тысячу раз захватить власть, они будут бессильны!»); затем сотрудничество между красной и имперской армиями (красные офицеры в немецких военных школах, немецкие офицеры в сибирских тренировочных лагерях); преуменьшение значения успехов нацистов на выборах; забастовка транспортных рабочих в Берлине, — и так до тех пор, пока пожар рейхстага, как предвестник событий, не озарил ярко сцену... И тогда повторилось то, что Радек печально отмечал еще в 1918 году:

«Немецкие рабочие шли на войну без всякого сопротивления, они шли с песнями, как опьяненные, они шли с победными криками».

И ему пришла мысль —

«не есть ли всё, что мы думали о международном братстве пролетариата, мечта и иллюзия...»

Советский Союз заплатил за эту иллюзию семнадцатью миллионами жертв во Вторую мировую войну!

Когда я вновь проанализировал московские процессы, то пришел к заключению, что Сталину было очень

легко обвинить всех своих противников в сотрудничестве с немцами и заставить их путаться в их же собственных противоречивых показаниях до тех пор, пока они не оказывались «созревшими» для открытых процессов. Артур Кёстлер пророчески верно вскрыл психологическую механику этого явления в своей книге «Затмение солнца». Само собой разумеется, что все эти «коллаборанты», которых тогда ликвидировали, не были изменниками в том смысле, в каком их обвинял Вышинский. Они просто были ленинцами, верными соратниками Ленина, принимавшими участие в его двойной игре. Из восьми подписавших Циммервальдское заявление четверо были ликвидированы! По существу на скамье подсудимых находилась ленинская немецкая политика! Сегодня предпочитают изображать показательные процессы как сталинское мероприятие и изобретение, но фактически и по существу они содержали «внутреннюю правду», основанную на ошибочной оценке немцев Лениным.

Если бы Ленин мог вернуться и увидеть кровавые жертвы своих соратников и гекатомбы, возникшие из-за его просчета, кто знает — не вернулся бы он к своим размышлениям во Флумских горах? Крупская писала об этом:

«Ильич не работал. Во время наших прогулок он много говорил о вопросах, которые его занимали, о роли демократии (!), о положительных (!) и отрицательных сторонах швейцарской демократии... было заметно, что все эти вопросы его очень занимали».

К сожалению, Ленин покинул нашу гостеприимную страну, не додумав эти вопросы до конца.

О Бунине

(1870-1953)

«Стихи Бунина, как и других эпигонов натурализма, — писал в «Аполлоне» Гумилев, — надо считать подделками, прежде всего — потому, что они скучны, не гипнотизируют. В них всё понятно и ничего не прекрасно.

Читая стихи Бунина, кажется, что читаешь прозу. Удачные детали пейзажей не связаны между собой лирическим подъемом»*).

Давая столь резкую оценку стихам Бунина, Гумилев был далеко не одинок.

Есть ходячее мнение: Бунин-поэт уступает Бунину-прозаику. Сам Бунин этого мнения не разделял; по праву ли? Да, скажем мы, по праву. Уже не говоря о том, что сама бунинская проза исполнена поэзии, не относятся ли и стихи Бунина (пусть не все: кто станет корить его юношескими грехами?) к лучшему, что создано русской поэзией?

Чтобы судить о бунинских стихах, особенно важно найти правильный подход. Было сказано, что поэзия Пушкина это не начало XIX века, а блистательное завершение XVIII. Так и стихи Бунина: это не столько XX век, сколько завершение XIX. Уже неоднократно указывалось на родство Бунина с Тютчевым, Фетом, Майковым. Да, взлет мысли временами тют-

*) Н. Гумилев. Бунин и др. «Аполлон», № 10, стр. 25-26. 1910. Цитируется по изданию «Н. Гумилев. Собрание сочинений». Т. 4, стр. 248. Вашингтон, 1968.

чевский; да, бунинская четкость иногда прерывается фетовской смятенностью; да, «скульптурность» Майкова не осталась без следа и в бунинской поэзии. Но недаром заметил Владимир Соловьев:

«Стих Майкова в лучших его произведениях силен и выразителен, но вообще не отличается звучностью*).

Вот этого-то последнего уж никак про бунинский стих не скажешь!

Если подойти к поэзии Бунина, как к прекрасному завершению XIX века, то легко понять, почему Бунин не принимал, да и не мог принять поэзии начала нынешнего века — символистов, имажинистов, футуристов, Блока, Брюсова, Маяковского: Бунин и они были, так сказать, разновременны.

Еще одно довольно распространенное мнение: его, между прочим, выразил и О. Михайлов в послесловии к собранию стихов Бунина, выпущенного в Москве. О. Михайлов, приводя некоторые бунинские рифмы («Взор» — «Костер»; «Ненастье» — «Счастье»; «Бурь» — «Лазурь») замечает, что рифма Бунина «банальна, как у Д. М. Ратгауза**). Что ж... Мы не знаем, встречаются ли у Ратгауза глагольные рифмы, но вот у Бунина они встречаются (например, «Утопаешь» — «Наливаешь» в стихотворении «Где ты, угасшее светило...»). К сведению О. Михайлова и прочих: глагольные рифмы есть и у Пушкина. Но насчет *банальности* рифмы...

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.

Другой смолчал и стал пред ним ходить.

Последуем примеру этого второго пушкинского мудреца.

*) Статья В. Соловьева «Майков». Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 35, стр. 371. СПб.

***) О. Михайлов. О Буине. «Примечания». И. А. Бунин. Собрание сочинений. Т. I, стр. 509. Изд. Художественной Литературы. М. 1965.

Обрыв Яйлы. Как руки фурий,
 Торчит над бездною из скал
 Колючий, искривленный бурей,
 Сухой и звонкий астрагал.

И на заре седой орленок
 Шипит в гнезде, как василиск,
 Завидев за морем спросонок
 В тумане сизом красный диск.

Что: банальна рифма?

Конечно, Бунин — не «эпигон натурализма»; никакой натуралист не мог бы написать:

На лиловом небе
 Желтая луна.
 Путается в хлебе
 Мрачная струна.

(«Вечерний жук»)

Разгадка бунинского «натурализма» в другом, и ее хорошо выразил Блок:

«Так знать и любить природу, как умеет Бунин, — мало кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и далеко»*).

Диапазон тематики стихов у Бунина необычайно широк, хотя и преобладают в ней (как и в прозе) обращенность к Богу, мысль о смерти, чудесные изображения природы, любовь. И с какой необычайной быстротой проносятся перед нами видения-стихи! Вот напряженная трагическая баллада «Малайская песня», вот эпические белые стихи о Цейлоне, вот полный внутреннего драматизма, весь построенный на «подтексте»

*) А. Блок. Собрание сочинений. Т. 5, стр. 141. М. — Л. 1962.

рассказ в стихах (иначе не назовешь) «Игроки», вот лирика, чувственная и целомудренная одновременно.

Я к ней вошел в полночный час.
Она спала — луна сияла
В ее окно, — и одеяла
Светился спущенный атлас.

Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди, —
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.

(Не есть ли, кстати, это стихотворение — наглядный аргумент против несправедливых слов Гумилева, — поэта крупного дарования, но критиковавшего Бунина с позиций своей, небунинской эпохи?)

«Память художника похожа на ожоги живой души вследствие быстроты движения», — заметил М. Пришвин. Художественная память Бунина-поэта — ожоги живой души.

О Бунине-прозаике наговорено так много, что уже есть общие места: «Певец дворянского оскудения...» (что в корне неверно, но об этом позже), «Чеканная бунинская проза»... Не избежал Бунин, впрочем, и непонимания его дара («у Бунина небольшое, но очень изящное и симпатичное дарование», — снисходительно отзывался о нем в «Брокгаузе и Ефроне», изд. 1905 г. С. Венгеров. Это после «Листопада» и «Песни о Гайавате» и за два года до избрания Бунина в почетные академики!).

Раздавалась по его адресу и прямая брань:

«В 1919-ом г. в «Одесских новостях» он как космополит и изменник прославлял интервенцию. Вскоре эмигрировал за границу, где опубликовал ряд статей, проникнутых бешеной

ненавистью к Советской России» («Большая Советская Энциклопедия» изд. 1951 г.).

Теперь клевета и брань — достояние прошлого (хотя, как говорится, из песни слова не выбросишь), а похвалы Бунину постепенно превращаются в канон. И все-таки, — пусть канон! — чем он нам дорог?

Вот говорят, Бунин — прекрасный бытописатель. Отразил быт умирающего провинциального дворянства. Изобразил мужиков без прикрас. Так этим он нам дорог? Разберемся.

Ближе всего к отражению (не преломлению!) крестьянской действительности те ранние рассказы Бунина, которые еще отмечены этаким натуралистическим народничеством: «Танька» (1892 г.), «Вести с Родины» (1893 г.), «На чужой стороне» (1893 г.), «Великий перевоз» (1894 г.). Но как раз не этим натурализмом пленяет нас Бунин, а тем своеобразным, неповторимым, что чувствуется и в этих ранних рассказах и чему будет суждено развиваться в «чеканную бунинскую прозу». Да и какой он «певец дворянского оскудения»? Сам о себе он пишет («Первые литературные шаги»):

«В детстве — глухая усадьба в Орловской губ. (имения отца уже приходили в разорение). Потом — уездный город, гимназия. Жил в Орле, Харькове, Полтаве, — и всё в радикальских кружках, — учился, немного работал в провинциальных газетах, странствовал по югу России, года два служил в полтавском губернском земстве статистиком, библиотекарем, временами порядочно нуждался».

Итак, — с усадьбой связано лишь детство Бунина. Отрочество — уездный город. Молодость — жизнь не помещика, о нет! — а странствия интеллигента-«правдоискателя». А когда пришли известность, а затем и слава, и появился материальный достаток, — Москва, Петербург, путешествия по Востоку и экзотическому Югу. «Отражать» довелось слишком многое, не только быт мелкопоместных дворян.

Даже в своих наиболее «социальных» вещах, какими считаются «Деревня» и «Суходол», темы крестьянского неустройства и бедности, даже страшная быль крепостного права, играют как бы подчиненную роль; Бунин не морализирует, не наставляет, не проповедует. «Любовь в Суходоле необычна была. Необычной была и ненависть»: вот бунинские слова, прямо указующие на стержень «Суходола».

Говорить об авторе «Деревни», «Суходола», «Жизни Арсеньева» как о бытописателе — это все равно что восторгаться «Евгением Онегиным» за верное отражение российского быта двадцатых годов прошлого века; как будто в пресловутом «отражении» — суть!

Мы знаем всё о прошлом Лаврецкого, Лизы Калитиной, Литвинова, Ирины Осининой; Бунин (у которого в его ранних вещах находят следы влияния Тургенева) этим приемом не пользуется. Он показывает своих героев лишь в настоящем, в действии, в движении, обуянных лишь одним: любовью. Любовью плотской, любовью одухотворенной, любовью ангельской, любовью дьявольской... Какой они общественной деятельностью занимаются (и занимаются ли?), заботятся ли они, подобно чеховскому Астрову, о сохранении лесов или не заботятся, мы не знаем. Мы видим лишь, как подобно солнечному удару их постигает любовь. Всегда несчастливая. «Они поженились, жили в согласии, у них были дети», — это не для Бунина. Он и имена своим героям дает далеко не всегда (есть у него «поручик», «военный врач», просто «он» и «она»), но зато они всегда любят. И от любви убивают, кончают с собой, сходят с ума, а если расходятся, — то с неизлечимой душевной раной.

Венец повествований о любви — бунинские «Темные аллеи». Книга в русской литературе еще небывалая: тридцать восемь новелл, и все о любви. В чем разгадка их колдовства, их убедительности вопреки тому, что иные из них (по сюжету, не по выполнению!)

— на грани чистейшего романтизма? Не в том ли, что в «Темных аллеях» Бунин, прежде всего, — поэт, его пресловутая «великолепная проза» всецело подчинена поэзии (перифразируя Гумилева: читая прозу Бунина, кажется, что читаешь стихи)? Только поэту, большому поэту дано превратить довольно банальное убийство офицером содержанки («Случилось то, о чем я должна была сказать тебе уже давно. Я возвращаюсь к нему. Наш разрыв был ошибкой».*) в сжатое, исполненное внутренней силы стихотворение в прозе («Параход 'Саратов'»). Только поэт способен двумя-тремя штрихами преобразить в истинную возлюбленную случайную ночную гостью, — глупенькую и несчастную уличную потаскушку:

«Лежа рядом с ней, он глядел в полутьму, смешанную с мутным светом с улицы, думая с неразрешающимся недоумением: как же это может быть, что она под утро куда-то уйдет? Куда? Живет с какими-то стервами над какой-нибудь прачешной, каждый вечер выходит с ними как на службу, чтобы заработать под каким-нибудь скотом два целковых — и какая детская беспечность, простосердечная идиотичность! Я, мне кажется, тоже «на весь дом закричу» от жалости, когда она завтра соберется уходить...»**) («Мадрид»).

Любовь — первая тема, а смерть — вторая? Или наоборот?

Сам Бунин о себе говорит:

«Люди не совсем одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни)... Вот к подобным людям принадлежу и я».

*) Ив. Бунин. Темные аллеи. Стр. 278. Париж. 1946.

**) Там же, стр. 256.

Обостренное чувство жизни! Вот разгадка неотступно преследовавшего его ужаса перед смертью. Но интересно, что одна из немногих написанных Буниным критических статей посвящена Баратынскому, смотревшему на смерть другими глазами:

О дочь верховного эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.

«И только в смерти поэт нашел действительное успокоение», — замечает, процитировав эти строки, Бунин, по-видимому, всё же недоумевая. «Он стал даже (подчеркнуто нами. — А. Н.) прославлять смерть» (эта фраза им предпослана выше процитированным строкам Баратынского). Бунину было тридцать лет от роду, когда он писал о Баратынском, с недоумением приводя его строки.

Но текли, текли его дни... В 1929 году парижские «Последние новости» напечатали его короткий рассказ «Бернар». Рассказ начинается словами: «Дней моих на земле осталось уже мало». А дальше идет повествование о старом моряке Бернаре, который, умирая, сказал о себе: «Думаю, что я был хороший моряк». И вот что замечает Бунин:

«А что хотел он выразить этими словами? Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что Бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что всё в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое Божье намерение, направленное к тому, чтобы всё в этом мире «было хорошо» и что усердное исполнение этого Божьего намерения есть всегда наша заслуга перед Ним, а посему и радость, гордость.

...Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар*).

Здесь уже — не ужас перед смертью; здесь — ее мудрое приятие, вот как мудрое приятие смерти старым моряком Бернаром.

Кстати, в книге «Весной, в Иудее» рассказ заново датирован и помечен 1952 годом. «Дней моих на земле осталось уже мало»...

На этом, собственно, можно было и закончить. Но сейчас Бунина чествуют и в России. В газетах и журналах — статьи о нем, его фотографии. Конечно, нельзя не порадоваться тому, что поздний, пореволюционный Бунин, хотя и с купюрами, стал доступен российскому читателю, и уж, конечно, им оценен.

Но во всех парадных официальных статьях есть какой-то неприятный привкус. Между строк чувствуется примерно следующее: Бунин — наш, и лишь там, где он заблуждался, он не наш. Бунин хотел после войны вернуться на родину. Он так и не вернулся. В этом его трагедия.

Да, короткое время после войны Бунин переживал тот подъем, который был присущ тогда многим и в стране и в эмиграции. Подъем, связанный с надеждами. Теми надеждами, о которых так хорошо сказано в заключительной фразе пастернаковского «Доктора Живаго». Надежды не сбылись, и Бунин это скоро понял. Повстречавшийся с ним вскоре после войны Константин Симонов писал о нем:

«Это был человек, не только внутренне не принявший никаких перемен, совершенных в России Октябрьской революцией, но и в душе всё еще никак не соглашавшийся с самой воз-

*) И. А. Б у н и н. Весной, в Иудее. Роза Иерихона. Стр. 96. Изд-во им. Чехова. Нью-Йорк. 1953.

возможностью таких перемен, все еще не привыкший к ним как к историческому факту»^{*)}.

И действительно, только представить себе: какой трагедией для Бунина-человека и Бунина-писателя было бы возвращение туда, куда людей загоняли силой (пресловутая «репатриация», с ее охотой за черепами!).

Только представить себе: Бунин и... Шолохов; Бунин и... Федин; Бунин и... Нет, слава Богу, что этого не случилось!

^{*)} К. Симонов. Об Иване Алексеевиче Бунине. «Литературная Россия», № 30, 1966 г.

”Замкнутый мир” современной русской фантастики

(Окончание)

Как видно из всего вышесказанного*), фантасты достаточно критически относятся к окружающей их действительности. Но их творчество не сводится только к отображению пороков общества: они ищут также средств для преодоления этих пороков.

Прием неизменно тот же: человек, или группа людей, извне (с другой планеты, из другого времени) сталкивается с порочным социальным строем и, исходя из разных побуждений (простое сострадание, соображения «галактической безопасности» и т. д.), старается найти способы борьбы с отрицательными явлениями.

Бороться с ними человек стремится, но возможна ли вообще борьба, и если возможна, то какая именно?

В основном у фантастов эта проблема сводится к вопросу: возможно ли и желательно ли вмешательство человека, исполненного добрых намерений, в дела планеты (или страны), правопорядок которой очень далек от совершенства, но переносится большинством жителей как неизбежное зло? Основная причина пассивности последних — невозможность в силу замкнутости системы, в которой они находятся, найти критерий для сравнения их жизненных условий с иными, свободными. Люди же, приходящие извне и попадающие в эти условия, оказываются беспомощными из-за отсутствия онтологической связи с туземцами, из-за отсутствия

*) См. начало статьи в «Гранях» № 78. — Ред.

возможности «сопереживать» с ними их проблемы.

Впрочем, у разных писателей — точки зрения разные: представители двух противоположных — Станислав Лем и Иван Ефремов, посередине между ними — братья Стругацкие.

Для Ефремова — всё ясно, проблемы нет.

«Жертвы олигархического режима Торманса даже не подозревали, что они жертвы, находящиеся в незримой тюрьме замкнутой планеты. Они воображали себя свободными, пока с прибытием нашей экспедиции не увидели истинную свободу, обновили веру в здравую человеческую натуру и ее огромные возможности... Тормансиане поняли, что нельзя быть свободными и невежественными, что необходимо серьезное психологическое воспитание, что надо уметь различать людей по их душевным качествам и пресекать в корне все причиняющие зло действия...»¹).

Тормансиане творили зло по неведению, но, узрев истину в лице ее безупречных проповедников — землян будущего коммунистического общества, они прозрели, покаялись, начали «пресекать в корне зло», и всё само собой наладилось.

Единственная, но обязательная предпосылка успеха всего дела в том, что человек с Земли должен быть носителем абсолютной истины и лишен противоречивости, побуждающей его совершать «причиняющие зло действия».

Если, как видно из его произведений, Ефремов — интегральный оптимист, Лем, напротив, — интегральный пессимист.

Ситуация у Лема та же, что выше: группа высоко развитых людей хотела бы помочь несчастным жителям Эдема; но помощь невозможна:

«Всё, что здесь происходит, является одним из звеньев длительного исторического процесса. Мысль о помощи порождается убеждением, что общество делится на хороших и плохих...

...Представь себе, что какая-то высокоразвитая раса прибывает на Землю во время религиозных войн, сотни лет назад, и хочет вмешаться в конфликт на стороне слабых. Опираясь на свою мощь, они запрещают сожжение еретиков, преследование иноверцев и т. д. И ты думаешь, они сумели бы распространить на земле рационализм? Ведь почти всё человечество было тогда верующим, им пришлось бы постепенно уничтожить его до последнего человека, и остались бы они одни со своими рационалистическими идеями...

...Помощь? Боже мой, что значит помощь? То, что здесь происходит, что мы тут видим, это плоды определенной общественной конструкции. Пришлось бы ее сломать и создать новую, лучшую — а как это сделать?..

— Да, — сказал Доктор. — Я опасался, что в приступе благородства вы захотите навести тут порядок, что в переводе на язык практики означало бы террор»²).

«Разве население планеты — это ребенок, зашедший в тупик, из которого его можно вывести за ручку? Если бы это было так просто, Боже мой! Хенрик, освобождение началось бы с того, что нам пришлось бы убивать, и чем яростнее была бы борьба, с тем меньшим разбором мы бы действовали, убивая в конце концов только для того, чтобы открыть себе путь для отступления или дорогу для контратаки...»

Когда земляне спрашивают жителя планеты, с которым они с трудом установили контакт, могут ли они чем-нибудь помочь Эдему, тот отвечает: «Нуль...»³).

Ни в этом случае, ни в других Лем не видит возможностей для успешной «интервенции» благотворителей-землян. Думается, что корень такого подхода писателя лежит в его отношении к «Иному», но этим вопросом мы займемся ниже.

Стругацкие относятся к проблеме «борьбы за человека» по-своему. Они хорошо видят трудности преодоления косности социальных структур, отрицательные свойства которых большинством населения даже не осознаются. Но Стругацкие выход всё же видят.

В «Обитаемом острове» представлена именно такая

ситуация, которая кажется совершенно безвыходной. Общество, пронизанное системой пропаганды и полицейского террора, производит впечатление неуязвимого:

«Не было силы в стране, которая могла бы освободить огромный народ, понятия не имеющий, что он не свободен, выпавший из хода истории. Эта машина была неуязвима изнутри. Она была устойчива по отношению к любым малым возмущениям. Будучи частично разрушена, она немедленно восстанавливалась. Будучи раздражена, она немедленно однозначно реагировала на раздражение, не заботясь о судьбе своих отдельных элементов»⁴).

Но что было еще гораздо страшнее общества, — это сама вселенная, которая представлялась жителям острова заколдованным безвыходным местом:

«Обитаемый остров был миром, единственным миром во Вселенной. Под ногами аборигенов была твердая поверхность Сферы Мира. Над головами аборигенов имел место гигантский, но конечного объема газовый шар неизвестного пока состава и обладающий не вполне ясными пока физическими свойствами»⁵).

«Максим понял, что находится в гигантской ловушке, что контакт сделается возможным только тогда, когда ему удастся буквально вывернуть наизнанку естественные представления, сложившиеся в течение тысячелетий»⁶).

Выхода быть не может, ибо нет вселенной, нет бесконечного. Нет даже просто дальнего, чужого. Всё свое — рутинное, изношенное, безрадостное, но единственно возможное.

Появление идеи или человека извне воспринимается как патологическое явление. Землянина Максима запирают в сумасшедший дом потому, что он «желает странного».

И по сути дела наличие человека или идеи извне — чрезвычайно опасно для подобного тоталитарного

общества именно тем, что такая идея или человек не способны органически слиться с каким-либо общественным механизмом и в состоянии оказаться той пылинкой, которая может остановить всю машину общества.

Правда, в данной ситуации борьба Максима с жуткой стихией оказалась почти бесполезной, его попытка «вывернуть наизнанку естественные представления, сложившиеся в течение тысячелетий», не увенчалась успехом. Но, несмотря на свои неудачи, несмотря даже на вред своих попыток революционным путем свергнуть тиранию «олигархов» (смысл вреда обстоятельно раскрывает перед ним сотрудник «галактической безопасности», тайно следивший за общественными процессами Острова), Максим продолжает борьбу. Он решился на эту борьбу уже в самом начале повести:

«Будь он неладен, этот бездарный замкнутый мир! Но у меня только два выхода: либо тосковать по невозможному и бессильно кусать локти, либо собраться и жить. По-настоящему жить, как я хотел жить всегда — любить друзей, добиваться цели, сражаться, побеждать, терпеть поражения, получать по носу, давать сдачи — всё, что угодно, только не заламывать руки»⁷⁾.

Как видно из отрывка, борьба за человека, за ближнего, вопреки всей кажущейся бесполезности своей, необходима Максиму, и в первую очередь обуславливается его *личным* стремлением, личной потребностью. Жизнь и борьба нераздельны и в своей совокупности проявляют себя даже вопреки объективным условиям внешнего мира.

В отличие от мира Обитаемого острова, который можно определить как замкнутый в себе и лишенный перспективности, мир в повести Стругацких «Улитка на склоне» включает в себе совсем иную ситуацию.

В этом произведении наравне с обществом, стремящимся к рационалистическому тоталитаризму, су-

ществует таинственный лес, символ всего не познанного человеком. В мире «Улитки на склоне» выход из общественного тупика тесно связан с познанием леса, с приобщением к его иррациональным закономерностям. Вряд ли мы ошибемся, если примем лес в качестве символа нашего внутреннего мира — нашей совести, всего того, что определяет самоотверженность человеческой борьбы.

Герой повести, например, обращаясь к лесу, обещает ему бороться:

«...Здесь я не могу помочь тебе, здесь всё слишком прочно, слишком устоялось. ... Но точку приложения сил я еще найду, не беспокойся. Правда, они могут необратимо загадить тебя, но на это тоже надо время и немало: им ведь еще нужно найти самый эффективный, экономичный и, главное, простой способ. Мы еще поборемся, было бы за что бороться...»⁸).

Ясно, что лес — одновременно и цель борьбы (« я не могу помочь тебе») и ее условие («они могут загадить тебя»). Иначе говоря, борьба ведется и за лес и с помощью леса — за совесть и по совести...

После обещания, данного лесу, продолжать борьбу, герой повести ночью, в библиотеке, в полном одиночестве, произносит монолог, обращаясь к старому двухтомнику:

«...Ты никогда не орал, не хвастался, не бил себя в грудь. Добрый и честный. И те, кто тебя читают, тоже становятся добрыми и честными. Хотя бы на время. Хотя бы сами с собой... Но ты знаешь, есть такое мнение, что для того, чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже невымытые ноги и нечищенные башмаки... Прогресс может оказаться совершенно безразличным к понятиям доброты и честности, как он был безразличен к этим понятиям до сих пор. ...всё зависит от того, как понимать прогресс. Можно понимать его так, что появляются эти знаменитые «зато»: алкоголик, зато отличный специалист; распутник, зато отличный проводник; вор ведь,

выжига, но зато какой администратор! Убийца, зато как дисциплинирован и предан... А можно понимать прогресс как превращение всех в людей добрых и честных. И тогда мы доживем когда-нибудь до того времени, когда будут говорить: специалист он, конечно, знающий, но грязный тип, гнать его надо...»⁹).

Этот замечательный отрывок, конечно, не ответ на все вопросы о жизни, о будущем, о счастье человека и общества. Он не решает также задачи соотношения добра и зла, дозволенности компромиссов между ними, но верно указывает направление, в котором поиски должны вестись (и уже ведутся в сегодняшней России). Разум и нравственность — неразделимые компоненты человеческого я, совершенно равноправные. Попытки вывести один компонент из другого калечат человека, насилуют историю и фальсифицируют человеческие отношения. Их органическое соединение в личном плане — правда, а в общественном — право.

Человек живет в мире деятельного зла, и, чтоб побороть его зловещую косность, добро должно быть деятельно.

Герой рассказа «Попытка к бегству» утверждает:

«Раз вы хотите делать добро, пусть оно будет активно. Добро должно быть более активно, чем зло, иначе всё остановится»¹⁰).

Блуждая по космосу или по времени, герои научно-фантастической литературы сталкиваются с представителями иных культур, с необычайными физическими явлениями. Их работа заключается в познании и систематизации наблюдаемых ими явлений. Но смысл этих путешествий и их результаты столь же различны, как и мировоззрения писателей-фантастов.

Для Ефремова, так же, как и для Стругацких первого периода их творчества, основная цель блужданий человека в космосе — демонстрация героических ка-

честв и всеобъемлющего ума людей будущего коммунистического общества. Звездолетчики победно шествуют по вселенной, заставляя ее (и нас) беспрерывно любоваться ими.

«...Человеку импонирует величественная картина торжества разума. Импонирует невысказанная, но явная мысль о великом призвании человека во вселенной, импонирует еще и потому, что совпадает с его внутренним, неосознанным убеждением, доводит его до логического завершения. Эта картина становится ему особенно близкой и потому, что, блуждая в космосе с героями Ефремова, он нигде не встречает Неожиданного, Иного — разнообразие форм имеет, по Ефремову, форму пирамиды: в вершине ее одна точка — человеческое общество, в существенном повторяющее наше, земное»¹¹).

Общества иных миров могут быть только двух типов: или они еще не достигли уровня культурного развития землян (возможно также, что они и регрессировали), и Человек царственной рукой помогает им карабкаться на высоты, им самим уже достигнутые, или они опередили землян, ибо исторический процесс их развития по тем или иным причинам зашел дальше тождественного исторического развития человечества. Во всяком случае, достижения человека и иноземных существ полностью переносимы из одного общества в другое и обусловлены очень близкими предпосылками.

Познакомимся, например, с тиомцами Г. Гóра:

«История тиомской цивилизации отличается от земной. Тиомцы — это прежде всего биологи, натуралисты, влюбленные в природу. Тиомец с детства начинает изучать и углубляться в жизнь (! — Д. Р.) растений и животных. Каждый взрослый тиомец проводит свой досуг в лесу, в поле, в саду, на берегу реки или озера. Беспрерывное наблюдение над жизнью животных и растений, начавшееся с периода, соответствующего вашему палеолиту, превратили каждого тиомца в исследователя, в экспериментатора. Творческое преобразование природы началось очень рано, хотя ему мешали социальные условия. Постоянное един-

ство с природой не позволило расцвести крайнему субъективизму, индивидуализму и тем уродливым формам идеализма, которые одно время процветали на земле. Ведь одно чрезвычайно модное в XX веке буржуазное направление в вашей земной философии, называемое экзистенциализмом, пришло к абсурдной идее противопоставить человека и всё человеческое объективному миру. Экзистенциалисты утверждали, что объективация убивает личность, расчеловечивает индивида... Тиомец не смог бы это даже понять, настолько это ему чуждо. Каждый тиомец как бы наполнен природой, в нем весь мир, он проникнут объектом, слит с ним. И связан единством со своими современниками...»¹²).

Хотя «история тиомской цивилизации отличается от земной», у тиомца — и палеолит, и сады, где он «проводит досуг». По сути дела единственное различие между людьми будущего и тиомцами в том, что последние сумели раньше найти тот исторический путь, который, по мнению автора, наиболее подходящ и для человека.

Примитивный антропоцентризм мешает не только посредственным фантастам подлинно осветить жизнь человека будущего (и настоящего), выявить ее иррациональные и противоречивые аспекты, но он мешает и посредственным критикам понять произведения воистину крупных писателей.

О своем романе «Возвращение со звезд» С. Лем говорит корреспонденту журнала «Вопросы литературы» следующее:

«Основой 'Возвращения со звезд' явился своеобразный конфликт непонимания между космонавтом, возвращающимся после длительного межпланетного путешествия, и остальными представителями рода человеческого, так как здесь, на Земле, за это время сменилось несколько поколений.

Я понимал, что структурные несоответствия между главным героем и другими «землянами» зашли слишком далеко, что они едва ли преодолимы. Следовало как-то выявить непохо-

жесть главного персонажа, объяснить ее. Так я и ввел в роман понятие «бетризация».

С помощью «бетризации», особого хирургического вмешательства, на земле *облагораживали* (курсив мой. — Д. Р.) человеческую натуру, избавляя ее от всякого рода агрессивных инстинктов. Главный герой, не подвергшийся «бетризации», естественно, очень от всех отличался». (С. Лем. Фантастика — не самоцель. «Вопросы литературы», № 9, 1970.)

Оценка критика А. Днепровая иная:

«Это роман-противопоставление, потому что налицо Соколы и Ужи, герои и мещане, честность и подлость, смелость и трусость.

Автор по-деловому, без излишнего пафоса рассказывает о трудных буднях звездолетчиков, об исследовании далеких звезд, о страшных картинах гибели на затерявшихся в пустынях вселенной планетоидах. Эти картины только подчеркивают мелочность и подлость мира, который не пожелал их принять в свои объятия, который оттолкнул их и в конце концов выбросил из своих пределов обратно, в их родную стихию, к звездам...»¹³).

Сами же «Соколы», судя по их собственным словам, из своего полета, из своей долголетней борьбы со стихией не вынесли ничего, кроме ощущения пустоты всей своей затеи. Вот их восприятие достигнутой цели:

«И тогда, наконец, эта белая точка, этот звездный гигант перестал быть для нас тем, чем казался вначале — вызовом. Его неизменность показала нам свое истинное значение. Звезда была свидетельством ничтожности нашего замысла, равнодушия пустоты, с которым никто никогда не сможет примириться...»¹⁴).

«...А после этого мы, ничего не жаждавшие так, как покоя, увидев нашу мечту идеально осуществленной, тут же почувствовали к ней отвращение. Кажется, Платон сказал: 'Несчастный, ты получишь то, что хотел'»¹⁵.

Им, ничего не нашедшим во вселенной, тем более трудно включиться в жизнь «бетризованного» обще-

ства, столь для них чуждую, но это отнюдь не сводит всю ситуацию к простой манихейской схеме — к борьбе «хороших» и «плохих».

В романе «Солярис» С. Лем совершенно ясно высказывается об антропоцентрическом подходе ко вселенной, подчеркивает опасность наглого и самовлюбленного отношения к ней (это произведение было опубликовано в журнале «Звезда» в 1962 году; к сожалению, самые интересные высказывания автора пропущены или искажены до неузнаваемости, и мне пришлось пользоваться французским переводом произведения польского писателя):

«Мы дали имя всем звездам, всем планетам, но у них, может быть, уже были имена... Какая наглость с нашей стороны!»¹⁶).

В другом месте герои задумываются о странностях планеты, на которой они находятся, и удивляются ее уникальному характеру:

«— Не существует ли других планет, похожих на эту?

— Может быть... неизвестно, это единственная, которую мы знаем. Во всяком случае она очень редкого типа — не то, что Земля! Земля — очень распространенного типа. Земля — сорная трава вселенной! А мы хвалимся этой распространенностью, воображаем, что ничего нет для нас непознаваемого. И с этой мыслью, бодрые и веселые, мы устремились к иным мирам!»¹⁷).

Первопричину «космической наглости» Лем усматривает в том, что человек недостаточно позаботился об изучении самого себя и, в частности, того зла, которое в нем так глубоко сидит.

«Человек отправился познавать иные миры, иные цивилизации, не познав до конца собственных тайников, закоулков, колодцев, им же самим забаррикадированных темных дверей»¹⁸).

В этом отношении очень интересны слова Р. Нудельмана:

«Дело даже не столько во вселенной, сколько в человеке, в отношении к нему. В признании его сложности, противоречивости, порой трагичности. В понимании того, что история не райские кущи, не прямая магистраль в царство разума и вечности. В ней есть тупики, закоулки, такие чудовищные повороты, на которых у человечества голова идет кругом. Бывает, что приходится отступить. Мы еще очень мало знаем о будущем, а стало быть — о прошлом, о самих себе»¹⁹).

Итак, основная причина фальши и неубедительности «райских кущ», обещанных нам в будущем Ефремовым и ему подобными, заключается в том, что в своих построениях эти фантасты исходят не из человека как такового, а из произвольно выделенной ими из всей человеческой совокупности только одной его стороны. В человеке заложен не только дух разумного, рационального будущего, но и всего иррационального, накопленного в его подсознании историей, и мы не смеем не принимать во внимание эту часть нашего я.

Организуя природу или строя общество, человек не воплощает во вселенной свой полный образ, а лишь образ произвольно изолированной части своего я, т. е. своего разума, поскольку исходит при этом исключительно из его предпосылок. Общество или природа, таким образом преобразованные, не являются полноценными и не дают человеку ощутить себя в органической связи с ними. Конфликт личности с обществом отнюдь не решен. У фантаста два пути: или не обращать внимания на фальшь ситуации и произвольно строить неудовлетворительное общество с неправдоподобными героями (путь Ефремова и Гóра) или, как Лем, — заставлять человека самочинно отсекал от себя часть своего я и жить, хотя и в органической связи с обществом, но в обществе неполноценном. И в том и в другом случае мы имеем дело с «человеком минус что-то»,

с неполным образом его собственного я. Сталкиваясь с «разумными» ситуациями, человек с ними справляется посредством своего разума, сталкиваясь же с «неразумным», с Иным, ему приходится искать ответы в «иной» плоскости самого себя.

Рассмотрением сути «Иного» и возможного для человека контакта с ним мы сейчас и займемся.

Две наиболее удачные постановки проблемы «Иного» в фантастике последних лет мы находим в образе «Океана» в романе С. Лема «Солярис» и в образе «Леса» в «Улитке на склоне» Стругацких. Произведение Лема было написано раньше, и выше я уже упоминал о явном влиянии Лема на братьев-фантастов. Но дело в том, что у Лема и у Стругацких образы «Иного» возникли в результате схожего своеобразного творческого процесса, что тот и другие ставили перед собой близкие писательские задачи. В этом смысле важно не то, кто занялся этим первый, а то, *почему* все они занялись проблемой «Иного».

Для начала ознакомимся с тем, как описывает процесс своего творчества польский фантаст Лем.

«В ходе поисков многое часто от меня не зависит, а приходит как бы само собой. Состояние такого творческого подъема (например, во время работы над «Эдемом» и «Солярисом») наступало неожиданно. Я не знал, что ждет Криса Кельвина на Солярисе, знал только одно: там что-то произойдет, что-то пугает и держит в постоянном страхе экипаж находящейся там космической станции.

— Одним словом, вы тоже «раб вдохновения»?

— Нет! Но не следует слишком настойчиво побуждать себя к писанию. Лучше всего — когда возникает внутренняя необходимость, когда чувствуешь, что должен сесть за новый фантастический роман. И всякий раз при этом необходимо верить в удачу и в то, что ты пишешь. И тогда дело пойдет. Это как двигатель».

(С. Лем. Фантастика — не самоцель. «Вопросы литературы» № 9, 1970, стр. 178).

Для Стругацких же

«не исключено, что определенная специфика научной фантастики сказывается и на характере творческого процесса. Наш опыт, во всяком случае, как будто подтверждает это предположение. Вообще каждая новая повесть задумывается, разрабатывается и пишется иначе, чем предыдущая и последующая. Здесь нет единой закономерности, а если и есть, то мы ее не знаем. Между первоначальным замыслом и конечным результатом лежит иногда пропасть, до такой степени глубокая, что мы сами удивляемся, откуда что взялось... Половина наших вещей была написана так: выкристаллизовалась идея, наметились герои, заиграл сюжет, подробно разработан план первых двух-трех глав. И вот, когда уже написано несколько страниц первого черновика, уже вроде бы пошло дело, вдруг выясняется, что нам скучно, что писать не хочется. Что мы занимаемся чепухой. Именно в этот момент отчаяния и бессилия, вероятно, и начинается настоящая работа, и из глубин сознания выплывает то, над чем мы подспудно думали последнее время, то, что нас особенно задевало, что мешало жить и помогало жить, то, что и было нашей настоящей жизнью последние годы. И когда, подвигаемые отчаянием и бессилием, мы осознаем всё это, как-то сами всплывают и новые герои, и новые ситуации, и новая форма, и новый сюжет, и мы уже наперебой рассказываем друг другу, каким должен быть мир, где развернется действие»²⁰).

Из приведенных свидетельств Лема и Стругацких видно, что ситуации в их произведениях (в частности, в «Солярисе» и «Улитке на склоне») возникают помимо волевого устремления самих авторов, из глубин подсознательного. Герои повестей сталкиваются с явлениями, не обтесанными рациональным мышлением их творцов, не выражающими «идей авторов», а сим-

волически отображающими жизнь внутреннего писательского я.

Лес в «Улитке на склоне» — область таинственных явлений растительной, животной и сказочной жизни. В его непроходимых дебрях шарикообразные существа размножаются почкованием и топят сами себя в реках, следуя неразгаданным закономерностям. Под его кровом красуются в волшебном тумане русалки, его деревья перепрыгивают с места на место и его лужи с аппетитом всасывают и переваривают человеческую технику.

Люди чувствуют себя в лесу очень неудобно, и по распоряжению администрации в него впускают людей только в случае необходимости, и то лишь таких, которые не смогли бы его полюбить и стать на его защиту против чиновников «Управления».

Герой повести Перец добивается, наконец, возможности попасть в это «Управление», распоряжающееся «командировками» в лес:

«...человек, который никогда в жизни не видел леса, ничего не слышал о лесе, не думал о нем, не боялся леса и не мечтал о лесе, даже такой человек мог легко догадаться о существовании его уже просто потому, что существовало Управление (по делам леса. — Д. Р.). ...Я стоял перед этой вывеской... и чувствовал слабость в коленях, потому что знал теперь, что лес существует, а значит всё, что я думал о нем до сих пор, — игра слабого воображения, бледная немощная ложь».

Перец хочет попасть в лес:

«— Тебе туда нельзя... Туда можно только людям, которые никогда о лесе не думали... Зачем тебе горькие истины?»

— А зачем же я сюда приезжал?

— Чтобы убедиться. Неужели ты не понимаешь, как все это важно: убедиться. Другие приезжают для другого. Чтобы обнаружить в лесу кубометры дров. Или найти бактерию жизни. Или написать диссертацию. Или получить пропуск, но не для того, чтобы ходить в лес, а просто на всякий случай: когда-

нибудь пригодится, да и не у всех есть. А предел поползновенный — извлечь из леса роскошный парк, как скульптор извлекает статую из глыбы мрамора. Чтобы потом этот парк стричь. Из года в год. Не давать ему снова стать лесом»²¹).

Перец мечтает о лесе, страстно стремится познать его тайну. Казенный философ «Управления» Проконсул (! — Д. Р.) также много думает о лесе, но его мечта — рационализировать лес, то есть по сути его уничтожить.

«...как преступно мало мы говорим и пишем о нем (о лесе — Д. Р.). Он облагораживает, он будит высшие чувства... А мы никак не можем пресечь распространение неквалифицированных слухов, побасенок, анекдотов...

...Дело ведь не в том, был ты в лесу или не был, дело в том, чтобы содрать с фактов шелуху мистики и суеверий, обнажить субстанцию, сорвав с нее одеяние, напыленное обывателями и утилитаристами...

...И подчеркните (когда о лесе будете читать доклад. — Д. Р.), что не болота и трясины, а великолепные грязелечебницы; не прыгающие деревья, а продукт высокоразвитой науки; не туземцы, не дикари, а древняя цивилизация людей гордых, свободных... И никаких русалок! Никакого лилового тумана...»²²).

Но лес не раскрывает своей тайны герою повести, и он в последний раз обращается к своему таинственному «другу»:

«Я не знаю, какой ты. Этого не знают даже те, кто совершенно уверен в том, что знают. Ты такой, какой ты есть, но могу же я надеяться, что ты такой, каким я всю жизнь хотел тебя видеть: добрый и умный, снисходительный и помнящий, внимательный и, может быть, даже благодарный. Мы растеряли всё это, у нас не хватает на это ни сил, ни времени, мы только строим памятники, всё больше, всё выше, всё дешевле, а помнить — помнить мы уже не можем... Так неужели я тебе не нужен? Нет, я буду говорить правду. Боюсь, что ты мне тоже не нужен. Мы увидели друг друга, но ближе мы не стали, а должно было случиться совсем не так. Может быть, это

они стоят между нами? Их много, я один, но я — один из них, ты, наверное, не различаешь меня в толпе, а, может быть, меня и различать не стоит. Может быть, я сам придумал те человеческие качества, которые должны нравиться тебе, но не тебе, какой ты есть, а тебе, каким я тебя придумал...»²³).

И на этот раз ответа от леса нет: Перец его получит — частично — от старого двухтомника, в сумерках пустынной библиотеки (см. выше).

Вернемся теперь к планете Солярис и познакомимся ближе с ее таинственным океаном.

Ситуация следующая: уже долгие годы земляне, постепенно покоряющие всю вселенную, не могут разгадать тайны одной-единственной планеты — Соляриса. Эта планета почти полностью покрыта живым океаном. Исследователи стараются разгадать тайну этого огромного организма: пишутся груды книг, производятся тысячи научных опытов, но ученые так и не добиваются установления контакта с океаном, не могут распознать смысла его загадочной жизни. Океан является единственной помехой торжественного и победоносного шествия человеческого разума по вселенной.

Ученые Земли расходятся в мнениях насчет возможности познания тайн планеты Солярис. Те, кто считают это познание невозможным, принадлежат к школе «соляристов».

«Скромная работа ученых — лишь ожидание завершения, Благовещения, так как не существует и не может существовать моста между Солярисом и Землей... Чего может ожидать человечество от установления «связи информации» с живым океаном? ...описания чаяний, страстей, надежд и страданий... осуществления математической воплощенной жизни... раскрытия полноты бытия в изоляции и отреченности?.. (Соляристы. — Д. Р.) таких откровений не ждут... так как они бессознательно ждут Откровения, откровения, которое объяснило бы им смысл человеческой судьбы! Соляристика воскрешает давно исчезнувшие мифы; она выявляет тоску по мистике, которую люди больше не смеют открыто выражать; краугольный камень,

глубоко заложенный в фундаменте здания, — надежда Искупления...»²⁴).

Как видим, Солярис — это уже не только загадка, но и средство для разрешения всех загадок мира, средство и надежда Искупления.

Герой повести (а с ним и С. Лем) не разделяет точки зрения «соляристов», но наблюдение над планетой на самом Солярисе и его приводит к размышлениям о смысле бытия, к размышлениям о Боге. Ниже привожу с некоторыми сокращениями его беседу с другим ученым исследовательской базы Соляриса.

«Нет, я думаю не о боге, несовершенном из-за его наивного восприятия создавшими его людьми, а о боге, несовершенство которого есть его основная, имманентная характеристика. О боге, ограниченном в своем всеведении и в своем всемогуществе, лишенном возможности предвидения всех последствий своих поступков, создающем явления, порождающие ужас. Это бог... немощный, его желанья превосходят его силы, но он это замечает не сразу. Это бог, создавший часы, но не время, которое они измеряют. Он создал системы, механизмы, предназначенные для точных целей, но они превзошли эти цели и тем самым им изменили. И он создал вечность, которая должна была быть мерой его мощи, но которая измеряет только его бесконечное поражение.

...Этот бог не существует вне материи, он хотел бы освободиться от материи, но не может...

Снаут немного подумал:

— Я не знаю такой религии. Такая религия никогда не была... нужна. Если я тебя понимаю, а я боюсь, что тебя понял, ты имеешь в виду бога эволюционирующего, бога, развивающегося во времени и всё шире и шире проявляющего свою мощь в сознании своей беспомощности? Для твоего бога божественное состояние — безвыходное положение, и, сознавая это, он отчаивается. Да, но отчаявшийся бог — разве это не человек, дорогой Кельвин?

... — Нет, дело тут не в человеке. Возможно, что в каком-то смысле человек соответствует подобному временному определе-

нию, но это потому, что в таком определении много пробелов. Человек, вопреки тому, что могло бы казаться, не создает себе целей. Время — эпоха — ему навязывает их. Человек может своему времени служить или против него бунтовать; но то, чему он прилежно служит, или то, против чего он бунтует, ему дано извне.

... — Откуда ты взял понятие несовершенного бога?

— Не знаю. Но я нахожу его очень вероятным. Это единственный бог, в которого мне хотелось бы верить, бог, страдания которого не являются искуплением, бог, который ничего не спасает, ни на что не нужен — бог, который просто есть»²⁵).

В таком определении Бога кроется, конечно, основа пессимизма, столь характерного для Лема, о котором была речь выше. Хотелось бы уточнить (или, вернее, дополнить лишним измерением) идеи польского фантаста о Боге.

Для этой цели приведу отрывок из произведения К. Г. Юнга «Психологические типы» (Париж, 1958, стр. 235-236), где известный психолог старается согласовать понятие Бога со своей теорией «коллективного бессознательного».

«Образ Бога — символическое выражение психологического состояния или определенной функции, характеристика которой — абсолютное преобладание сознательных волевых устремлений субъекта, и которая тем самым принуждает сознание к действиям нормально для него невозможным, или по крайней мере делает такие действия возможными. Этот чрезвычайно сильный импульс или вдохновение, превосходящее рассудок, — когда «бог-функция» проявляет себя в действиях, — происходит из нагромождения энергии, которая оживляет образы, содержимые бессознательным, как скрытые его возможности».

Образ Бога — «коллективное выражение самых сильных импульсов» «с самых отдаленных времен».

Бог, возникающий из глубины бессознательного и проникающий в сознательные слои человеческой души, для Юнга лишен качественной характеристики и

сводится к процессу своего проявления.

Казалось бы, на первый взгляд, мало общего между Богом «изнутри» Юнга и Богом «извне» Лема. Но по сути дела Бог Юнга — тоже извне: учение психолога утверждает существование «архетипов», образов и источников явлений подсознательного, общих для всего человечества (и даже в пределе для всего живого), которые и наличествуют в индивидуальной психике, но также пребывают и вне ее, во всех других человеческих и прочих психиках.

Вспомним, как Лем в интервью описывает свой творческий процесс, и нам станет ясно его отношение к внутренней «теогонии», описанной Юнгом. Далее, в упомянутом интервью после приведенного отрывка Лем утверждает, что он «рационалист по своим убеждениям»; откуда же у него могли взяться «океан» и рассуждения о Боге, как не из самых глубин его я, помимо рациональных слоев психики?

Но у Лема рациональное и иррациональное не просто сосуществуют или открыто борются. Сознательное вообще не имеет никакой возможности онтологического контакта с иррациональным.

Контакт с «океаном», с молодым, неопытным богом, как его называет Лем, удастся Кельвину только во сне, когда сознательные слои психики не могут сопротивляться бессознательным. Во время сна океан творит из глубинных слоев бессознательного невыносимые для героев живые модели их самых запрятанных пороков и забытых проступков, творит даже самих героев заново. Контакт океана с людьми возможен лишь в акте творения. Кельвин видит сон:

«В неопределенном месте, окруженный бесконечностью, далеко от неба и земли, ...меня держит в плену чужая мертвая бесформенная материя; или, вернее, у меня нет тела, я сам из этой чужой мне материи... Вокруг меня что-то ждет моего согласия, ...моего внутреннего согласия, и я знаю, вернее, что-то во мне знает, что я не должен был бы поддаваться неведомому

искушению... Я жду. Из розового тумана, который меня окутывает, выплывает невидимый предмет и меня щупает... и я чувствую как бы прикосновение руки, и эта рука меня создает заново. До сих пор я думал, что я видел, но у меня не было глаз, и вот — у меня глаза! Под осторожной лаской пальцев мои губы, мои щеки возникают из небытия, всё шире ласка, и вот — у меня лицо, дыхание расширяет грудь мою, я существую. И, заново созданный, я создаю в свою очередь, и предо мной возникает лицо, никогда еще мною не виденное, знакомое и незнакомое. Я заново жив, во мне бесконечная сила, и это создание — женщина? — пребывает рядом со мной, и мы неподвижны. Наши сердца бьются, одно в другом, и вдруг — в пустоту, нас окружающую, где нет ничего и где быть ничего не может, вкрадывается «влияние» неопишуемой, непостижимой жестокости. ...Наши тела, белые и голые, растворяются, превращаются в кишках черных гадюк, и я — и мы — груда сплетающихся липких червей, бесконечная груда, бесконечная в этой бесконечности, нет! я — бесконечность, и я молча кричу, зываю к смерти, зываю к концу»²⁶).

Встреча с Океаном не приносит человеку ничего радостного. Мне кажется, что причину этого нужно искать в том, что человек не умеет пользоваться своим даром «творения», не умеет контролировать качество своего творчества и воплощает в нем лишь ту часть своего я, которая ведет к страданию и смерти. Океан ничем не в состоянии помочь человеку, пока последний сам не обретет всей полноты своего я, не воссоединит в себе внешний и внутренний мир.

Нужно, чтобы человек научился существовать так же, как и Океан, чтоб он стал «прозрачным». Для христианина этот момент мог бы быть назван «преображением плоти» (см. по этому вопросу метафизические построения философа Н. О. Лосского).

Речь идет об Океане:

«Он «видит» иначе, чем мы. Мы не существуем для него так, как существуем друг для друга. Мы узнаем друг друга по облику лица, тела... Для него этот облик — прозрачное стекло»²⁷).

Лем в «Солярисе» не разгадал загадки жизни. Он даже, наверное, дальше от ее решения, чем Стругацкие в «Улитке на склоне». Ему никакой «старый двухтомник» не указывает пути. Но Лем, как и Стругацкие, не считает, что невозможность познать неведомое должна привести к прекращению поисков. В этих поисках и скрыт подлинный смысл бытия, в них человек познает себя и мир в подлинном измерении.

Как бы ни определять Иное — неведомым, будущим, бессознательным архетипом, Богом, — познание его постулирует отказ человека от своего «эгоантропоцентризма», признание себя существом ограниченным чем-то или кем-то. В этом познании человек обретает себя, но оно несет ему всё то, что человек и сам в себе несет, оно дает ему выход из замкнутого мира, но выход этот может вести и к доброму (путь двухтомника), и к злу (встреча во сне с Океаном), и к жизни, и к смерти. Путь к неведомому ведет человека к раскрытию и достижению своих крайних пределов, но ведет только туда, куда человек сам будет стремиться.

... За поворотом, в глубине
Лесного лога
Готово будущее мне,
Верней залога.

Его уже не втянешь в спор
И не заластишь.
Оно распахнуто, как бор,
Всё вширь, всё настезь.²⁶⁾

ПРИМЕЧАНИЯ

¹⁾ И. Ефремов. Час Быка. «Молодая гвардия», № 5, стр. 244, 1969.

²⁾ С. Лем. Эдем. «Звезда», № 11, стр. 132, 1966.

- 3) Там же, стр. 146.
- 4) А. и Б. Стругацкие. Обитаемый остров. «Нева», № 5, стр. 107, 1969.
- 5) Там же, № 3, стр. 192.
- 6) Там же, стр. 123.
- 7) Там же.
- 8) А. и Б. Стругацкие. Улитка на склоне. «Байкал», № 1, стр. 50, 1968.
- 9) Там же.
- 10) А. и Б. Стругацкие. Попытка к бегству. «Фантастика, 1962 год», стр. 233.
- 11) Р. Нудельман. Разговор в купе. «Фантастика, 1964 год», стр. 365.
- 12) Г. Гор. Странник и время. «Фантастика, 1962 год», стр. 84-85.
- 13) А. Днепров. Нет, к звездам. «Молодая гвардия», № 5, стр. 316, 1965.
- 14) С. Лем. Возвращение со звезд. «Молодая гвардия», № 5, стр. 278, 1965.
- 15) Там же, стр. 277
- 16) S. L e m. Solaris. стр. 266. Ed. „Denoël“. Paris, 1966.
- 17) Там же, стр. 195.
- 18) Там же, стр. 194.
- 19) Р. Нудельман. Разговор в купе. «Фантастика, 1964 год», стр. 365.
- 20) «Литературная газета», № 6, 1970.
- 21) А. и Б. Стругацкие. Улитка на склоне. «Байкал», № 1, стр. 44, 1968.
- 22) Там же, стр. 45.
- 23) Там же, стр. 49.
- 24) S. L e m. Solaris. стр. 212. Ed. „Denoël“. Paris, 1966.
- 25) Там же, стр. 240-241, 243.
- 26) Там же, стр. 219-220.
- 27) Там же, стр. 236.
- 28) Это стихотворение Б. Пастернака «За поворотом» приведено Стругацкими в «Улитке на склоне» как эпитафия. В последней строке — разночтение: «вширь» — «вглубь». — Р е д.

Библиография

ЗЕМНОЙ НАРЯД

Сборник избранных стихов Глеба Струве охватывает длительный период — тридцать пять лет, то-есть почти целую творческую жизнь. Это обстоятельство, с одной стороны, безмерно затрудняет высказывание о вошедших в сборник стихах (почти каждое замечание можно отвести ссылкой на то, что «стихи старые»), а с другой — позволяет охватить творчество поэта как бы с высоты птичьего полета, отметить то устойчивое и постоянное, что в нем присутствует.

Прежде всего хочется подчеркнуть, что стихи Глеба Струве скорее эмоциональны, чем умственны. Мысль есть в каждом из его стихотворений, но она никогда не преобладает, и правильнее будет говорить не о философии, а о мироощущении поэта, причем хотя у него есть и пессимистические ноты, они почти теряются в общей гармонии приятия мира, «своей судьбы, своей звезды».

Прощениум его творчества¹ предоставлен символике «утлого жилья». Поэт часто задумывается о бренности нашего телесного состава, о хрупкости (но не об иллюзорности) того тела, о котором так хорошо сказано: «Сосуд непрочный, некрасивый, / Но благодарный и счастливый / Тем, что вмещает он» милую Психею. Я привел здесь слова Владислава Ходасевича умышленно. Если Глеб Струве соприкасается со многими поэтами известной «парижской группы», то Ходасевич ему ближе, чем кто-либо другой. Только ирония и горечь Ходасевича совершенно чужды Глебу Струве.

Тело и душа сходятся на краткий срок, но неотвратима предстоящая им разлука:

¹ Глеб Струве: Утлое Жилье. Избранные стихи 1915-1949. Международное Литературное Содружество, Мюнхен, 1965 г.

О как, волнуясь и спеша
И задыхаясь от усилья,
Торопится догнать душа
Вдруг отделившиеся крылья.

Душа, душа! ты не догонишь,
Ты камнем упадешь назад
И, бессловесная, застонешь,
Увидев свой земной наряд.

В удивленье будет взирать душа на покинутое ею «утлое жильё, ладью в волнах Господня моря». А дальше? А дальше душа канет в ту ночь, «которой нет названья, / которой нет начала и конца», но в которой все-таки веет последней лаской «ветер на Млечном мосту».

Эта мысль — о бренности «непрочного существованья на маленькой, бедной земле» — присутствует постоянно, то выдвигаясь на передний план, то отступая в тень. Вокруг этой основной темы располагаются темы тоски о любимой, незабываемости встреч, воспоминаний о юности, даже резигнации — больше эмоции, чем мысли, хотя и мысль временами приобретает мощь несокрушимой логики («В. Ф. Ходасевичу»).

На первый взгляд могло бы показаться, что тема непрочного соединения духа с материей не открывает новых перспектив, но у самостоятельного поэта она неизменно осложняется неожиданными вариациями. Союз души и тела, оказывается, не уместается в несколько бесспорных положений, ибо человек может жить — или существовать? — и без души:

Жить без души вольней и слаще,
Поверь — вольней и веселей,

и это уже совсем иная тема, иной ряд символов.

Однако, пока непрочный союз длится, дано «утлому жилью» и его гостье касаться некоего нездешнего мира, заглядывать в запредельную пустоту, отдаляться от обыденной осязаемости: «И от самой себя душа, / Восторгом пустоты дыша, / Стремится прочь неудержимо».

БИБЛИОГРАФИЯ

Непрочность союза подчеркивается тысячами явлений окружающего нас мира, особенно же наступлением ночи и вместе с нею захлестыванием нашего сознания сновидениями, о чем Глеб Струве рассказывает своими обжигающе прекрасными словами (запомнившимися пишущему эти строки еще с тридцатых годов):

Я вижу мир, подобный кораблю:
Сейчас матрос подымет тяжкий якорь,
И всё, что я так горестно люблю,
Вдруг уплывет навстречу мраку.

Тогда, покинутый, наедине
С подмигивающими мне звездами,
Я буду плакать о твоей весне,
О легких днях, летевших журавлями.

Очень удается Глебу Струве и чуждый большинству русских поэтов тон мягкого юмора, добродушной шутки («Ты будешь чинить зажигалки»). Нам всем несравненно более свойственно трагическое восприятие жизни и мира, от которого почти неизбежно происходят сарказм и ирония.

Хороших стихов у Глеба Струве очень много. Назову почти наугад его «Брюгге», «Я хочу быть простым и мудрым», второе и пятое стихотворения из цикла «Стихи о смерти», «Ты помнишь ландыши», «Черный кэб», «Музу» (быть может, лучшее в сборнике), «Лондон — 1940», «На реке — 1», «Дактили», «Две вариации на одну тему», «Нисходит душа в небытье». Прекрасны отдельные образы: облетелых деревьев (третья строфа на странице 107), снежинок (на стр. 69), Медного Всадника и многое другое.

По методу построения стихов Глеб Струве — акмеист, и для него характерно предельное целомудрие. Никаких «фокусов» в его стихах не найти. Он не стремится к «звукописи» и в области формы обходится воспринятым наследием мастеров, не поддаваясь модному теперь увлечению «исканиями» во имя новизны во что бы то ни стало.

Метрика и ритмика его стихов почти всегда правильны, хотя в шестистопном ямбе (стр. 60) цезура обязательна (но ведь

это 1930-ый год!), и оставлять значительное слово без ударения не полагается (а поэт делает это со словами «вдруг» во второй строфе первого стихотворения цикла «Корабль», «легкой» и «будет» на странице 87). Рифмы у него не притязают на изысканность и часто вырождаются в разряд приблизительных, но зато встречаются и находки, радующие глаз и слух своим богатством и полнотой («образов» — «зов», «аллея» — «алея») и возвращающие понятию рифмы его первичное значение отголоска, эхо. Ассонансы у Глеба Струве появляются только в четвертый период.

Отметим здесь и другие недочеты. Ранний по времени «Январьский сонет» поэт пишет четырехстопным ямбом (вместо законенного пятистопного), но тот же размер избирает он и для сравнительно «зрелого» сонета на странице 109. Чем-то привлекают его странный эпитет «рыжеокий» (в котором есть некая болезненность) и архаизмы («брег», «ветр»), которые он допускает даже в переводах. Встречаются у него и необычные ударения, и тяжелые скопления согласных («шчт» на странице 71 в шестой строке, «твсп» в пятой строке на странице 73, «шжд» в третьей строке на стр. 23. «цс» в пятнадцатой строке на стр. 56 и много других).

О таких формах и словосочетаниях, как «натываясь», «радьо», «навысоке», «причудливая пряха», «смерть — знахарь», «готовый для встреч», «отовсюду», «внимая отгул», «взирает ниц», «об единственной» и другие, можно сказать только одно: что мы оставляем их на совести поэта.

Есть и еще одно возражение по существу. Зачем понадобилось поэту включать в свой сборник неоконченную поэму? Пишущему эти строки представляется, что больше смысла было бы в том, чтобы ее сначала *окончить*.

Не имея возможности сличить переводы Глеба Струве из Р. М. Рильке с оригиналом, ограничусь общими соображениями. В переводах стихов переводчик не раб, а соперник автора, однако, при условии, что он пользуется теми же средствами. Было бы неверно переводить белые стихи рифмованными или рифмованные — белыми. Если в немецкой поэзии и у Рильке приняты рифмоиды, то переводчик прав, предлагая нам такие нерифмы, как «поцелуй» — «углу», «ветр» — «лет», «горе» —

«морей», и приблизительные рифмы, как «Прага» — «шагом», «шлеме» — «подъемля», «неистов» — «кипарисов», «вянет» — «заране». Если же Рильке их не знает, то неправ и переводчик, снижая технический уровень оригинала.

Определенно неудовлетворительны строки из стихотворения «Масличный сад»: «Он уронил лоб запыленный свой / на запыленность жаркую ладоней», в которой сталкиваются два «л», затем слово «лоб» проскакивает без ударения и, наконец, «запыленность» звучит нестерпимой абстракцией. Это нехорошо, даже если эту сушь придумал Рильке.

О формальной технике Глеба Струве следует сказать, что она досталась ему как бы в готовом виде и очень рано. «Утлое жильё» отображает большой срок, но за все эти годы в манере стихосложения у поэта не произошло никакого сдвига. Быть может, это надо назвать «прекрасным постоянством». Однако пишущему эти строки представляется, что измена у поэта — не слабость, а прямой долг. Сжигать всё, чему поэт поклонялся, и поклониться всему, что он сжигал, — не в этом ли одна из тайн ремесла, залог движения, поисков, нащупывания неосознанных целей?

Перемена инвентаря изобразительных средств, как бы его обновление, нас безмерно обогащает. Мы не должны и не смеем остановиться на том, что уже достигнуто и освоено нами самими или нашими предшественниками.

Валерий Перелешин

ПОД ГЛУХИМИ НЕБЕСАМИ

Если бы ветхозаветный Иов жил в XX веке и страстно любил все формы искусства, он, наверное, чувствовал и выражался бы как Эммануил Райс. Несомненно, пережив столько грозных безжалостных веков, он потерял бы свою непосред-

Эммануил Райс. Под глухими небесами. Международное Литературное Содружество, Мюнхен, 1967.

ственность и бесстрашие, с которым вступал в спор с Творцом неба и земли, но зато мучения его стали бы глубже и безвыходнее. Современный Иов ропщет на Бога по-иному, ибо живет не в патриархальные времена простых, несложных устоев жизни. Наш век трагичен потому, что мы потеряли все иллюзии: человек одинок и наг перед лицом вечности. Он потерял даже веру в целесообразность, в законность страдания. Его не запугаешь раскатами гнева карающего Судии. Гибель Содома и Гоморры в сравнении с ужасами мирового масштаба, свидетелями которых мы являемся, может показаться лишь небольшой диверсией. Современный человек ищет смысл кажущейся несправедливости и покинутости и находит его в себе самом; он всё меньше верит, что это игра каких-то внешних сил. Но чтобы родилось «что-то серьезное, значительное, священное, — говорит Райс, — надо удариться о самое дно отчаяния. ...Человек в нищете — беззащитно открыт всем ветрам, всем стихиям жизни. У него — ни прикрытия, ни убежища, ни опоры. Но в самой глубине, за всеми испытаниями, за всеми бурями, за всей безвыходностью дорог он узнает Того, Кто бдит над мирозданием и над судьбой».

Эта книга — дневник, где Райс записывает беглые мысли о собственных переживаниях, о жизни, об искусстве. Записи эти велись в страшные годы гитлеровского засилья — 1938-1941. В приписке, датированной 1966 г., он замечает: «С тех пор я убедился, что Бог наши подлинные всерьез молитвы исполняет... но только с огромным опозданием... поэтому очень важно доверять, знать, что Бог нашу мольбу не забывает. Иначе мы рискуем в момент ее исполнения не понять, что происходящее — плод наших же молитв. И тогда может случиться, что вымоленный ценой целой жизни Божий дар мы рассеянно отбрасываем, не веря в исполнение чуда».

«Параллельно с исканием себя надо и строить себя, — говорит автор дневника. — Каждая потерянная иллюзия есть сила. Не бойся отбрасывать, бойся оставлять». Путь этот мужествен, трагичен, а сердечная чуткость подсказывает, что любовь и красота свидетельствуют о бытии Божьем. Но не надо стараться проникнуть в их тайну. «Весь смысл любви в том, что

БИБЛИОГРАФИЯ

она тайна... весь смысл звезд в том, что они тайна». И он прибавляет: «Наука не знает, чем звезды живы, так для чего же она морочит нам голову?» И далее: «Сила поэзии и любви не в разнообразии, а в том, что они на грани все той же тайны, тесно прислоняясь к перилам над бездной». Так может чувствовать лишь истинный поэт: жизнь для него тесно связана со смертью.

Лирик, романтик в нем смирился и признается: «Всю молодость ты протерпел оттого, что ты не такой, как все. И как только ты к этому привык, вдруг оказалось, что ты такой же обыкновенный, прозаический и будничный, как и все прохожие».

Книгу эту надо читать медленно и вдумчиво. Язык Райса отработан и выразителен. Самая словесная ткань играет для художника не второстепенную роль.

«Всякое заслуживающее этого имени искусство — демонично, замечает он, и большевикам не удастся ни укротить его, ни использовать, ни уничтожить».

Настоящий ...поэт должен быть как ветер, не насилюющий дерево, но чтобы оно носило отпечаток дуновения от поэта-ветра». Лучше ведь не скажешь о творческой алхимии!

Оригинальны высказывания Э. Райса о поэзии, музыке, живописи. Истинный ценитель чужого творчества как бы сам участвует в этом творчестве, иначе — для кого эти художники творили бы? Не для невнимательной же, равнодушной толпы!

А вот из жизненных наблюдений.

«Жалость — согревающая, человеческая, влажная, а совесть — сухая, свербящая, едкая. От жалости человек становится лучше, а от совести — хуже».

«Обеспеченности покоя не может быть, хотя бы потому одному, что обеспечить можно себя от уже случившегося, в прошлом уже бывшего. Случается же всегда еще никогда не бывшее, непредвиденное, не входящее ни в какие ранее существовавшие категории. И еще потому немислимо обеспечить спокойствие, что это бы значило положить предел мертвыми формами и косной материей живому духу, вечно беспокойному,

черпающему в самом себе и в мире вечно новые, вечно непредвидимые возможности».

Э. Райс — непримиримый враг большевизма и советского засилия.

«Оказывается, говорит он, что сущность социализма не в общем равенстве и справедливости, а в том, чтобы всех заставить работать. Он не против обманщиков и насильников, а против лодырей...».

О. Можайская

ВОСПОМИНАНИЯ МИХАИЛА ГОЛЬДШТЕЙНА

М. Гольдштейн в краткой вступительной статье к своим воспоминаниям предупреждает читателей о том, чтобы они не искали в его книге каких-либо сенсационных разоблачений или трагических пассажей. «Я прожил всю жизнь в Советском Союзе, — пишет М. Гольдштейн, — но никогда не сидел в тюрьме, не был под судом, не ездил в ссылку в знаменитых эшелонах и не изведal концентрационных лагерей». Прожил свою жизнь автор воспоминаний нормально, даже сравнительно «счастливо», ибо далеко не всякому советскому гражданину удастся избежать драматических злоключений, особенно если этот гражданин имеет не совсем «удобное» происхождение: М. Гольдштейн — еврей, а эта национальность в СССР в настоящее время не в почете.

М. Гольдштейн — человек не старый: он ровесник советской власти (родился 8 ноября 1917 г. в Одессе), по профессии музыкант и, судя по его творческой деятельности, музыкант не только удачливый, но и весьма одаренный... И вот, несмотря на все указанные выше обстоятельства, М. Гольдштейн приложил все усилия к тому, чтобы покинуть родину, которую он любил, друзей и знакомых, которых он ценил и уважал и к которым был привязан всей душой. Покинул родину в расцвете своего

Михаил Гольдштейн. Записки музыканта. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1970. Стр. 142.

таланта, не зная и не пытаясь угадать, что может ждать его на чужбине.

Сам автор объясняет свой «прыжок в неизвестность» тем, что бытовая обстановка, окружавшая его в Советском Союзе, несмотря на то, что он свyksя с ней с младенческих лет, в зрелом возрасте заставила его задуматься над уродством окружающей его жизни, над духовным убожеством творческой работы, протекающей в тисках постоянного политического давления. «Я стал думать, — пишет М. Гольдштейн, — а это могло привести к самоубийству, помешательству, тюрьме, алкоголизму или бегству за границу». М. Гольдштейн предпочел последнее...

И вот теперь, живя на свободе, он решил рассказать «о буднях своей страны» и о жизни той среды, которая по роду его профессии была ему близка и хорошо известна. Никаких ужасов у себя на родине автор не испытал. Условия жизни деятелей искусства, то есть людей привилегированных, считаются вполне благополучными. Может быть, поэтому воспоминания его производят впечатление предельно объективное и беспристрастное...

Связь искусства с политикой в СССР является абсолютно обязательной. Правительство субсидирует и поощряет только ту деятельность в области искусства, которая может содействовать прославлению советской власти. Хотя музыка как будто и не имеет прямой зависимости от учений Маркса и Ленина, тем не менее руководители советского искусства смогли и музыку втиснуть в рамки соцреализма и приспособить ее к службе на пропагандном фронте. Крупные ассигнования, отпускаемые советским правительством на «промышленное производство» виртуозов, по мнению М. Гольдштейна, с лихвой оправдывают себя не только в отношении политическом, но и в отношении экономическом: крупные суммы денег в иностранной валюте, выручаемые от зарубежных концертов советскими виртуозами, присваиваются правительством. Даже сами исполнители получают в иностранной валюте только незначительную часть своего гонорара, и если принять во внимание, что «конвейерный экспорт» советских артистов налажен образцово, то

чистая прибыль, поступающая в карман правительства, достигает значительной цифры.

Однако советские музыканты получают во время своих заграничных выступлений большое моральное удовлетворение: они могут исполнять почти всё, что хотят, тогда как их выступления в СССР строго контролируются цензурой. «Тема музыкального подхалимажа проникла в самые различные жанры музыкального искусства, — пишет автор, — и чтобы не выйти из рамок дозволенного, композиторы должны сочинять песни о вождах, воспевать подвиги председателей колхозов» и прочее. Композиторов в СССР — великое множество, и если они «творят» согласно линии партийных заказов, то получают крупные вознаграждения из разных источников. Конечно, нет никакого смысла сочинять «большую» музыку: больше всех зарабатывают не сочинители симфоний, а «песенники», то есть сочинители популярных песен. Для этого не нужно быть даже очень грамотным музыкантом: необходимо только удачно придумать незатейливую мелодию, а всё остальное сделают другие, более грамотные музыканты в порядке «соавторства» или, еще проще, в порядке «творческой помощи».

Жестока музыкальная цензура в Советском Союзе. Очень невежественны во всех отношениях там музыкальные цензоры, и много анекдотов создано по поводу их «деятельности». Однако жизнь берет свое: в последние годы создалась самотеком «подпольная музыка», главным образом песенного характера. Есть в СССР и композиторы, которые, несмотря на цензурный запрет, сочиняют «модерную» музыку (Э. В. Денисов, кн. А. М. Волконский, В. Н. Салматов, С. М. Слонимский, Б. И. Тищенко, Г. И. Уствольская, Г. Банщиков, А. Томчин и др.).

О многих бытовых и профессиональных курьезах очень умело рассказал М. Гольдштейн в своих воспоминаниях. Особенно любопытны рассказы о встрече автора в Челябинске с бандитом-одесситом и о сочинении им же «симфонии Овсянико-Куликовского».

Несколько скорбных страниц в книге Гольдштейна посвящены антисемитизму, который, по словам автора, во время

БИБЛИОГРАФИЯ

последней войны «стал официальным, хотя о нем не написано ни в одном советском законе».

Много горьких минут пришлось пережить М. Гольдштейну, но нигде в книге его нельзя найти ни упреков, ни жалоб. Мудро и спокойно повествует он о «буднях своей страны»...

Арк. Слизской

СТИХИ НА ВЕЕРЕ

Надо приветствовать появление этой тоненькой изящной книжки — антологии китайской классической поэзии. Перевод и предисловие — Валерия Перелешина.

Такое издание особенно ценно в наше время, когда передается забвению всё лучшее, что создано высокой национальной культурой этого народа. Знакомство с его творчеством рождает любовь и понимание. Преходящее же и злободневное обычно создают лишь дешевку.

Поэты много раз пытались переводить стихи с чужого языка, с которым плохо знакомы. В результате получается искажение оригинала или сухой пересказ. В данном случае перевод В. Перелешина вызывает к себе доверие, так как мы знаем, что он приехал в Китай ребенком, научился языку в местной школе, познакомился с образованными людьми, с писателями, изучил китайскую литературу, и к тому же сам он хороший поэт.

Но не всякий талантливый поэт также и хороший переводчик. Однако чувствуется, что здесь верно передан дух этой дальневосточной психологии, в общем чуждой нам, европейцам. Поэзия эта производит впечатление отрешенности, отсутствия острых субъективных эмоций. Тон ее сдержанный, она глубоко аристократична и малодоступна людям, лишенным инту-

Валерий Перелешин. Стихи на веере. Антология китайской классической поэзии. 1970. Стр. 41.

иции. Нужна некоторая смелость, чтобы пользоваться рифмами при переводе. Мне кажется, здесь она оправдана.

В обстоятельном предисловии к «Антологии» В. Перелешин объясняет особенности китайского стихосложения. Вся дореволюционная китайская культура была консервативна, основана на священных традициях прошлого: классический поэт обязан был подчиняться строгим правилам просодии и метрики, неизменным законам чередования тонов. Существовали целые таблицы рифм, основанные на созвучиях, ко времени составления этих таблиц давно исчезнувших из живого языка. Даже в коротких стихотворениях, состоящих из двух, трех строф, был обязателен параллелизм мыслей. Китайский язык односложен, что, конечно, усложняет труд переводчика.

В книге приведены любопытные рисунки — оригиналы некоторых стихов: это идеограммы, то есть письменные знаки, условно изображающие понятия. «Каждый поэт-классик очень индивидуален: невозможно обобщение между этими поэтами», говорит Перелешин. Это как будто, на первый взгляд, противоречит факту их привязанности к традициям. Литература эта — детище образованного класса: всякий придворный книжник (мандарин) был обязан уметь писать стихи. Этим объясняется изобилие стихов в китайских антологиях.

Другая особенность китайской поэзии, кроме ее формализма, — условность в выборе тем. Излюбленные мотивы: грусть расставания с друзьями, боль потери, одиночество, размышления над тщетой существования. Вся наша европейская литература должна казаться восточным людям сентиментальной, насыщенной эротизмом. Я бы сказала, что это поэзия старости: в ней царит осенняя атмосфера, она скорее созерцательна, как и приличествует философам. Преобладают черный и белый цвета. В памяти остается четкий изящный рисунок в несколько скупых штрихов.

По-видимому, особняком стоит популярный поэт восьмого века — Ли Бай, воспевавший вино и упоение жизнью. Но, как и персидские поэты, к которым он близок, он намекает на «сокровенную Основу», «что преобразует живое.

Прекрасно стихотворение «Трое» того же Ли Бая. В нем много динамики, близкой и нам — западным людям.

Среди цветов я радуюсь вину.
Я здесь один — мне не с кем пить сейчас.
Подняв бокал, я приглашу луну
И тень мою, чтоб трое стало нас.

Луне вино, однако, ни к чему,
А тень, увы, лишь подражает мне.
И все ж я их в товарищи возьму:
Мы музыкой честь воздадим весне.

Вот я запел: качается луна.
Вот я пляшу: тень мечется, верна.
Мы выпили — и тотчас разошлись,
А трезвые дружили мы вчера.
И кажется: в заоблачную высь
Переплеснет унылая игра.

Быть может, здесь как бы предчувствие той трагедии, которая произошла теперь в этой древней стране, погруженной столько веков в летаргический сон. Ее напоили крепким вином и грубо пробудили к современной жизни. В стихотворении сказано, что пока поэт был трезв, то и товарищи его — тень и луна — планета сна и созерцания — были в гармонии друг с другом. Но лишь только он напился пьяным, восторжествовали хаос, вражда. Мне кажется, главная трагедия этого народа (впрочем, и всякого народа) в том, что он потерял свое лицо, подражая чужой культуре, изменил своей сокровенной сути.

В конце книги помещены краткие сведения об авторах и примечания к стихотворениям.

О. Емельянова

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВИШИХ В РЕДАКЦІЮ

Биковський, Лев. Від Привороття до Трапезунду. Спомини (1895 — 1918). В-во «Дніпрова хвиля», Мюнхен 1969. Ст. 133+1+1 вкл.

Джилас, Милован. Разговори со Сталиным. Изд. «Посев», Франкфурт-на-Майне. 1970. Стр. 213+1 вкл.

Задеснянський, Р. Апостол української національної революції. Видання четверте, в-во «Українська критична думка», Мюнхен 1969. Ст. 394+2.

Кленовский, Дм. Почерком поэта. Мюнхен 1971. Стр. 70+2.

Константин, Чудо русской истории. Сборник статей. Типография преподобного Иова Печерского, Jordanville, N. Y. 1970. Стр. 2+316.

Мандельштам, Надежда. Воспоминания. Изд-во им. Чехова. Нью-Йорк 1970. Стр. 429+2.

Струве, Никита. Антология русской поэзии. Возрождение XX-го века. — Anthologie de la poésie russe. La renaissance du XXe siècle. Introduction, choix, traduction et notes par N. Struve. Aubier-Flammarion, Paris 1970. Pp. 253.

Тарсис, Валерий. Рискованная жизнь Валентина Алмазова. Книга первая — Столкновение с зеркалом. Изд. «Посев», Франкфурт-на-Майне. 1970. Стр. 403+1.

Українська інтелігенція під судом КГБ. Матеріяли з процесів В. Черновола, М. Масютка, М. Озерного та ін. «Сучасність» (без указания места издания) 1970. Ст. 248+3.

Филиппов, Борис. Мимоходом. Рассказы. Легенды. Стихи. Вашингтон (Мюнхен) 1970. Стр. 94+1.

Чиннов, Игорь. Партитура. Изд. «Нового журнала», Нью-Йорк (Лувен) 1970. Стр. 59+2.

Шекспір, Вільям. Король Лір. Переклад Василь Барка. (+Шекспіріяна). Вид. «На горі», Штутгарт 1969. Ст. 300+4.

Vahr, Hans-Dieter. Kritik der „Politischen Technologie“. Eine Auseinandersetzung mit Herbert Markuse und Junger Habermas. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt/M. 1970. SS. 107+1.

БИБЛИОГРАФИЯ

Brunner, Georg / Westen, Klaus. Die sowjetische Kolchosordnung. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1970. SS. 168.

Cohn, Norman. Die Protokolle der Weisen von Zion. Der Mythos von der jüdischen Weltverschwörung. Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 1969. SS. 391.

Desroches, Alain. The Ukrainian Problem and Symon Petlura. Ukrainian Research and Information Institute, Chicago 1970. Pp. 108+1.

Erhard, Johann Benjamin. Über das Recht des Volkes zu einer Revolution und andere Schriften. Carl Hanser Verlag, München 1970. SS. 269.

Eucken - Erdsiek, Edith. Die Macht der Minderheit. Eine Auseinandersetzung mit dem neuen Anarchismus. Verlag Herder, Freiburg/Br. 1970. SS. 124.

Goldelman, Solomon I. Jewish National Autonomy in Ukraine. 1917 — 1920. Ukrainian Research and Information Institute, Chicago 1968. Pp. 131+1 bl.

Guttenberg, Karl Theodor, Freiherr zu. Im Interesse der Freiheit. Herausgegeben von Paul Pucher. Seewald Verlag, Stuttgart und AZ Studio, Bonn. 1970. SS. 312+4 Bl. Fotos.

Klasen, Hans. Von Marx zu Mao Tse-tung. Einführung in die Ideologie des Kommunismus. Eine Quellensammlung. Speer-Verlag, Trier 1970. SS. 180.

Krämer-Badoni, Rudolf. Anarchismus: Geschichte und Gegenwart einer Utopie. Verlag Fritz Molden, Wien 1970. SS. 288.

Marine, Gene. Black Panthers. Christian Wegner Verlag, Hamburg 1970. SS. 198.

Meissner, Boris und Rhode, Gotthold. Grundfragen sowjetischer Außenpolitik. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1970. SS. 175.

Nahayewsky, Isidore, Rev., Ph. D. History of the Modern Ukrainian State. Ukrainian Free University and Academy of Arts and Sciences, Munich 1966. Pp. 317+12 pl.

Naßmacher, Karl-Heinz, Dr. Politikwissenschaft I. Politische Systeme und politische Soziologie. Werner-Verlag, Düsseldorf 1970. SS. IX+158.

Pächter, Heinz. Weltmacht Rußland. Tradition und Revolution in der Sowjetpolitik. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1970. SS. 399.

Pucher, P. — s. Guttenberg.

Rhode, G. — s. Meissner.

Riechers, Christian. Antonio Gramsci. Marxismus in Italien. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt/M. 1970. SS. 251+3.

Simon, Gerhard. Die Kirchen in Rußland. Berichte. Dokumente. Manz Verlag, München 1970. SS. 228.

Strik-Strikfeldt, Wilfried. Gegen Stalin und Hitler. General Wlassow und die russische Freiheitsbewegung. Von Hase und Koehler Verlag, Mainz 1970. SS. 287+4 Bl. Fotos.

Weingartner, Thomas. Stalin und der Aufstieg Hitlers. Die Deutschlandpolitik der Sowjetunion und der Kommunistischen Internationale 1929 — 1934. Walter de Gruyter & Co., Berlin 1970. SS. XII+302.

Westen, K. — s. Brunner.

Williams, E. N. The Ancien Régime in Europe. Government and Society in the Major States 1648 — 1789. Harper and Row, Publishers, New York 1970. Pp. XV+599.

ПОПРАВКА

В редакционном примечании к «На смерть Маяковского» («Грани» № 78) указывалось, что стихотворение публикуется впервые. Как выяснилось сейчас из сообщения двух наших читателей, стихотворение это было полностью опубликовано в пражском журнале «Воля России» (№ 11-12, 1930).

Редакция благодарит читателей, давших ей возможность исправить досадную ошибку.

ПИСЬМА. ОТКЛИКИ

О концлагерях в очерках В. Шаламова

С исключительной объективностью рисуют эти очерки черты такого существенного элемента социализма как концентрационные лагеря. Но в то же время автор допускает неточность, которая может быть использована в свою пользу партийной пропагандой КПСС при разговорах о так называемых «ленинских правовых нормах». Весьма важно поэтому установить факт, когда возникли в Советском Союзе концлагеря: еще при жизни «Ильича», или только после его смерти? Но самое существенное — это решение вопроса, был ли вообще отход от этих норм или только дальнейшее их развитие?

Очерк «Сергей Есенин и воровской мир»*) начинается словами:

«Ранней грязной уральской весной двигался пеший «этап». Шел 1929 год, последний год, когда в России был всего один концентрационный лагерь, единственный СЛОН — Соловецкий Лагерь Особого Назначения. Открывалось четвертое отделение СЛОНа на Северном Урале. Остров Соловки, Кемь, Ухта-Печора еще в прошлом году бросили туда своих «опытных» заключенных».

Несколько дальше мы читаем в том же очерке:

«СЛОН был единственным тогдашним лагерем, но отнюдь не первым в послереволюционной России. Первый лагерь был открыт в 1924 году в Холмогорах, на родине Ломоносова. Там содержались матросы — участники Кронштадтского мятежа. Вернее, половина участников, точнее — чётные номера той страшной шеренги, в которую были построены все мятежники на Кронштадтском молу после подавления мятежа.

После расчета на «первый-второй», нечётные номера по команде шагнули на пять шагов вперед и были расстреляны.

*) «Грани» № 77, стр. 42-43. — Р е д.

...В 1925 году был на месте монастыря открыт концлагерь: уголовники, белогвардейцы и сектанты — вот три группы заключенных в этих первых лагерях».

Автору этих строк, правда, несколько позже, в конце 1931 года, пришлось пройти той же самой дорогой и в том же этапном порядке, что и дает мне основание внести необходимые коррективы.

Судя по датам, приводимым В. Шаламовым, получается, что первый лагерь возник тогда, когда «Ильич» уже сошел со сцены в Советском Союзе. Но это совершенно неверно, так как первые лагеря были созданы не только при жизни Ленина, но и при его непосредственном участии.

Декрет ВЦИКа о создании «Лагерьей Принудительных Работ» был опубликован 15 апреля 1919 года в газете «Известия». Хорошо известно, что без указания и санкции Ленина никакие декреты и иные правительственные акты не принимались и не публиковались. Таким образом, создание концлагерей лежит целиком на ответственности самого «Ильича».

Первые лагеря в Холмогорах возникли вскоре после опубликования этого декрета, а не в 1924 году, как пишет В. Шаламов. Также значительно раньше возник и лагерь на Соловецких островах. Например, Борис Ширяев в его книге «Неугасимая лампада», посвященной воспоминаниям о Соловецких лагерях, пишет, что он был осужден и сослан туда в 1922 г. Его воспоминания относятся к 1923 году, когда Соловки были не новым, а уже вполне обжитым лагерем. А ведь это было еще ленинское время.

Четвертое отделение СЛОНа (позже — УВЛОН, а затем — ВИТЛ*) также возникло значительно раньше, правда, в послеленинское время. Прибыв туда по этапу в конце 1931 года, я застал там еще некоторых старожилов, доставленных не в 1929 г., а в зиму 1926/27 г., то есть значительно раньше, чем указано В. Шаламовым. Этот более ранний срок открытия Вишерского

*) УВЛОН — Управление Вишерскими Лагерями Особого Назначения. ВИТЛ — Вишерские Исправительно-Трудовые Лагеря. Последнее переименование произошло около 1930 г. — С. К.

БИБЛИОГРАФИЯ

лагеря подтверждается также и следующим: когда весной 1929 г. я приехал в качестве монтажного инженера на строительство ТЭЦ*), тогда еще вольного строительства расширившегося Березниковского содового завода, то по Каме сверху уже сплавлялись плоты с маркировкой «Вишхимз» — надпись, камуфлировавшая перед внешним миром Вишерские лагеря. Лесозаготовительные командировки этих лагерей работали тогда уже полным ходом, так же, как велось и строительство Вишерского целлюлозно-бумажного комбината, который возводился руками вишерских каторжников.

Помимо этой главной ошибки в датах, хотелось бы отметить еще некоторые детали. Цитирую снова В. Шаламова:

«'Этап', который шел на север по уральским деревням, был этапом из книжек — так всё было похоже на читанное раньше у Короленко, у Толстого, у Фигнер, у Морозова...

Пьяные конвоиры... и поминутно — щелканье затворами винтовок... свежая солома на земляном полу сараев этапных изб...»

Сначала о самом этапном пути. Солома-то в избах была отнюдь не свежая, а тертая-перетертая предыдущими ночевавшими там этапами; конвоиры не только щелкали затворами, но использовали их и более эффективно, приводя в исполнение вступительную команду при трогании этапа с места:

«Шаг вправо, шаг влево считается попыткой к бегству. Конвою приказываю, в случае попыток к бегству, применять оружие самостоятельно, без предупреждения. Этап, следовать за мной!»

Такова была формула, произносимая начальниками этапов. Это можно дополнить еще тем, что шагом вправо или влево могло также считаться, если измученный этапник споткнется и упадет не перед собой, а в сторону. А зимой этап шел по глубокому снегу, по протоптанному следу, «гуськом», так что упасть внутри строя шансов было мало, и в особенности очень часто падали старики.

*) ТЭЦ — тепловая электроцентраль. — С. К.

Далее, в сравнении с рассказами Короленко или Толстого есть одна небольшая, но существенная неточность. В этих описаниях и во всех опубликованных воспоминаниях тех времен никогда не фигурирует тема голода, а в ленинские, сталинские и теперешние времена это одно из основных переживаний и воспоминаний. Также в картинах, нарисованных и Короленко, и Толстым, и другими, обычно фигурируют сани или подводы для отстающих, больных и слабосильных. В наше время этой роскоши не знали, зато были собаки и собаководы..

Я позволил себе сделать приведенные замечания только по тем соображениям, что вольные или невольные ошибки и неточности, оставаясь на будущее как показания очевидцев, искажают действительную картину, а в данном случае могут еще способствовать поддержанию мифа о «всеблагое Ильиче».

С. Кирсанов

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

в № 77 журнала

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
15	17 сверху	тинатура (2 раза)	тинктура (оба раза)
35	8 сверху	и наши	в наши
43	5 сверху	четыре	чётные
118	1 снизу	в России. (пропуск)	в России, полное подтверждение чего он видел в начавшейся в России революции.
123	2 сверху	теперь в России, (пропуск)	теперь республику в России,

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ,
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность опубликовать те Ваши произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным достоянием автора, — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому наше издательство считает прямым своим долгом способствовать публикации таких рукописей, поскольку новая российская литература лишена политической цензурой права голоса у себя в стране. При этом мы, естественно, не пытаемся заручиться формальным разрешением автора на такие публикации.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**P o s s e v - Verlag,
623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.**

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На российскую интеллигенцию, в особенности на молодежь, возлагается историей ответственная задача — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО « П О С Е В »

Содержание номеров журнала « Г р а н и » смотри:

с № 1 по № 58 в № 59

с № 52 по № 74 в № 74

с № 75 по № 78 в № 78

Новый каталог вышедших номеров высылается бесплатно по требованию.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

(выдержки из каталога)

	н. м.	ам. дол.
А. Галич. ПЕСНИ	16.—	5.30
Н. Горбаневская. ПОЛДЕНЬ	17.—	5.—
В. Гроссман. ВСЁ ТЕЧЕТ...	18.80	6.30
в мягком переплете	15.50	5.20
М. Джилас. РАЗГОВОРЫ СО СТАЛИНЫМ	12.80	4.25
А. Марченко. МОИ ПОКАЗАНИЯ	14.—	4.65
Г. Мейер. СВЕТ В НОЧИ	24.—	8.—
Г. Мейер. СБОРНИК ЛИТЕРАТУРНЫХ СТАТЕЙ	18.—	6.—
М. Нарича. НЕСПЕТАЯ ПЕСНЯ	8.—	2.70
В. Перелешин. СТИХИ НА ВЕЕРЕ	8.—	2.70
Л. Ржевский. «...ПОКАЗАВШЕМУ НАМ СВЕТ»	8.—	2.70
А. Солженицын. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ		
в 6-ти томах	111.—	37.—
в мягком переплете	93.—	31.—
Н. Ульянов. ЗАМОЛЧАННЫЙ МАРКС	4.—	1.80
С. Франк. РЕЛИГИЯ И НАУКА	2.50	—80

**КНИЖНЫЕ НОВИНКИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«ПОСЕВ»**

ПРОЦЕСС ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

Сборник документов по делу Ю. Т. Галанскова, А. И. Гинзбурга, А. А. Добровольского и В. И. Лашковой. Составил Г. Е. Брудерер.

488 стр., карманный формат, обложка работы А. В. Русака.

Цена: 18.80 н. м., в США и Канаде — 6.50 ам. дол.

**Е. ОЛИЦКАЯ
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ**

Распространяется Самиздатом. Написаны членом партии эсеров.

Карманный формат, в двух томах, 320 и 247 стр.

Цена обоих томов: 25. н. м.,
в США и Канаде — 8.40 ам. дол.

**Проф. В. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
ФИЛОСОФСКАЯ НИЩЕТА МАРКСИЗМА**

Только что вышло из печати 3-е издание.

Карманный формат, 247 стр.

Цена: 12.80 н. м., в США и Канаде — 4.25 ам. дол.

**ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ
КРУТОЙ МАРШРУТ**

Сам автор называет свое произведение «хроникой времен культа личности» или «записками рядовой коммунистки».

436 стр., мягкий переплет,
обложка работы Л. Гл. Скуратовой.

Цена: 18.30 н. м., в США и Канаде — 6.10 ам. дол.